

Мережковский Д. Кальвин filosoff.org
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

Мережковский Д. Кальвин.

І. КАЛЬВИН И ЛЮТЕР

«Если бы даже он назвал меня дьяволом, я все-таки почтил бы его как великого слугу Божьего», – говорит Кальвин.[1] «Я радуюсь тому, что Бог посылает нам таких людей, как он, чтобы нанести папству последний удар и кончить с Божьей помощью то, что я начал делать против Антихриста», – говорит Лютер о Кальвине.[2] Судя по таким отзывам, они любят друг друга, как братья. Но есть и другие отзывы:

«Он[3] грешит не только гордыней и злоречием, но и невежеством и гнуснейшими суевериями», – пишет Кальвин ученику Лютера, Мартину Буцеру (Vicer), в 1538 году,[4] и в 1540 году – другому ученику его, Филиппу Меланхтону: «Ты жалуешься на вспыльчивость и слепую нетерпимость Лютера, но не должны ли эти недостатки его день ото дня усиливаться, если все дрожат перед ним и уступают ему во всем?»[5]

Лютер не обманывается добрыми о нем отзывами Кальвина: «Я надеюсь, что он будет некогда лучше думать о нас».[6] Это значит: «думает обо мне сейчас нехорошо». Так же не обманывается и Кальвин добрыми о нем отзывами Лютера; знает, что бывают такие минуты, когда он считает его «дьяволом».

Кальвин и Лютер – два сросшихся и вечно враждующих близнеца – Авель и Каин. Может быть, они хотели бы убить друг друга, но срослись спинами так, что не только друг друга убить, но и в лицо увидеть друг друга не могут.

2

«Кальвин спас дело Лютера», – утверждают ученики Кальвина.[7] Но спас или погубил – это еще большой вопрос. Кальвин и Лютер противоположны и взаимно-диаметральны: Кальвин – Лютер в действии, а Лютер – Кальвин в созерцании. Может быть, в этом не случай, а «Предопределение» Реформы.

Кальвин пришел на готовое. «Я рожден для того, чтобы бороться с бесчисленным множеством чудовищ и дьяволов», – говорит Лютер. «Мне нужно выкорчевывать деревья, выворачивать камни, пролагая новые пути в диких чащах лесных».[8] Кальвин пойдет по этому расчищенному Лютером пути.

«Истинный глава Церкви – не Папа, а Христос», – в этом Кальвин повторяет Лютера с точностью, но дальше не идет.[9] Повторяет и ошибку его: «Папа – Антихрист». Но в устах Кальвина это уже пустые, не только для Рима, но и для самой Женевы не страшные слова.

Лютер подчиняет Церковь государству. Если бы это так и осталось, то когда государство отпало от христианства и сделалось, как в наши дни, языческим или даже антихристианским, то самое понятие Церкви исчезло бы с лица земли. Кальвин, как думают ученики его, утвердил самостоятельное, от государства независимое и даже господствующее над ним бытие Церкви и этим ее будто бы спас.

Лютер отказался от видимой Вселенской Церкви; Кальвин ее утвердил. «Церковь есть общество предопределенных к спасению, избранных, *praedestinati*, *electi*... достигающих Царствия Небесного через видимую Церковь».[10] у Лютера, в конце концов, дело спасения только личного, все еще «монашество»; у Кальвина будто бы от начала до конца – дело спасения личного и общего вместе. Нет никакого сомнения, что сделать это Кальвин хотел, но сделал ли – это опять-таки еще большой вопрос.

Кровью не исходит сердце Кальвина от разрыва с Римской Церковью, как сердце Лютера, и в этой ожесточенной, окаменелой сухости сердца Кальвин дальше от Вселенской Церкви, чем Лютер. «Я тоскую, как дитя, покинутое матерью», – этого Кальвин не мог бы сказать вместе с Лютером о бывшей Римской Церкви, а значит, и о будущей Вселенской.[11] «Мы[12] предлагаем вам[13] сделать все, что нужно для восстановления мира в Церкви», – Кальвин не мог бы сказать и этого, ни даже почувствовать, вместе с Лютером.[14] Лютер – «ходатай», «молитвенник» за Римскую Церковь, но не Кальвин. «Никакие заблуждения Римской Церкви не дают нам права от нее отделиться, ибо она есть Церковь Апостолов и Мучеников», – говорит Лютер в самом начале дела своего, а в самом конце его, в Аугсбургском Исповедании, скажет Меланхтон, ближайший

ученик Лютера: «Мы будем верны Христу и Римской Церкви до последнего вздоха». [15] Кальвин не мог бы и этого сказать, ни даже почувствовать, вместе с Меланхтоном и Лютером.

«Надо быть в Римской Церкви, чтобы спастись; надо уйти из Римской Церкви, чтобы спастись», – этой терзающей антиномии, необходимой для того, чтобы войти в будущую Вселенскую Церковь, Кальвин совсем не знает.

3

Бешеными конями Лютера уносимую телегу Реформации Кальвин затормозит на самом краю пропасти – Революции. Буйство Лютера – *furor teutonien*s – Кальвин утишит и усмирит.

О глубокой, метафизической противоположности двух религиозных опытов – Лютера и Кальвина – лучше всего можно судить по отзывам о книге Иоганна Таулера «Германское Богословие», «*Theologia Germanica*». «К милости призывает Таулер великих мира сего, а народ – к свободе». Это главное для Лютера – то, что делает книгу эту «равной Святому Писанию», а для Кальвина это «чума» и «смертельный яд». [16] Именно здесь, в религиозном опыте свободы и Закона, главная причина убийственной вражды между двумя сросшимися близнецами – Лютером и Кальвином – Авелем и Каином. Но сами они этого не сознают. Главная движущая сила Лютера – «согласная противоположность», антиномия Закона в Отце и Свободы в Сыне – не существует для Кальвина.

Воля к народности у Лютера, а у Кальвина – к всемирности. Кальвин первый освободит Реформу от того исключительного духа германской народности, которым вся она пропитана у Лютера. [17]

«Я для моих немцев рожден; им и хочу послужить», [18] – говорит Лютер, а Кальвин ему отвечает: «Главное, что мы должны помнить и к чему должны стремиться, – к Богу привлекать все народы земли, чтобы они единодушно поклонялись и служили Ему». [19]

Против начинающегося и все растущего умножения и раздробления Церквей Лютер бессилен, а Кальвин силен или, по крайней мере, хочет быть сильным. Воля его ко всемирности и есть воля к единству.

4

Может быть, одновременность двух Реформ – одной вне католической Церкви, другой – внутри – тоже не случай, а «Предопределение». «Общество Иисуса», «*Compania de Jesu*», утверждено папою Павлом III в 1540 году, в самый канун Женевской Теократии. Вообще все дело св. Игнатия Лойолы – как бы «предопределенный», *providentialis*, ответ на дело Кальвина – эхо, повторяющее внешне гулы мира под внутренним куполом Рима.

Если в одном, более внешнем, историческом порядке два сросшихся и вечно враждующих близнеца – Кальвин и Лютер, то в другом, более внутреннем, религиозном порядке два таких же близнеца – Кальвин и Лойола. Три глубокие воли соединяют их, скрещивают. Первая воля – к спасению не только личному, но и общему. «Я не хотел бы умереть сейчас, если бы даже был уверен в вечном блаженстве, – говорит Лойола ученику своему, Лайнецу. – Я хотел бы раньше докончить дело мое». [20] Это мог бы сказать и Кальвин, а Лютер не мог бы. Благочестие Кальвина так же, как Лойолы, есть подвиг воина, готового сражаться, страдать и умереть за «славу Божию». *Soli Deo gloria*, «Богу единому слава» – у Кальвина; «К наибольшей славе Божьей», *Ad maiorem Dei gloriam*, – у Лойолы. Оба они произносят эти два слова – *Gloria Dei* – одинаковым, благоговейно трепетным голосом. «Слава Божия» значит для обоих «Царство Божие» не только на небе, но и на земле. «Церковь Воинствующая», *Ecclesia militans*, – большая для них обоих действительность, чем «Церковь Торжествующая», *Ecclesia triumphans*, Иисус для Лойолы, в «Духовных упражнениях», не столько Царь Небесный, как Полководец Христов. «Помните всегда, что вы – солдаты в войске Христовом и что вы дадите ответ вашему Военачальнику в том, как вы исполните ваше святое призвание». [21] Это говорит ученикам своим Кальвин; то же мог бы сказать и Лойола. Каждый человек для них обоих – воин, сражающийся в одном из двух вечных станов – Бога или дьявола. Но «Промысел» не Божий (есть, увы, и такой) заключается в том, что эти два войска – одно, идущее за Кальвином, а другое – за Лойолой, – вместо того, чтобы соединиться против общего врага, будут сражаться и

Мережковский Д. Кальвин filosoff.org
друг друга истреблять во славу не Бога, а дьявола.

Кажется иногда, что эти два великих полководца, Кальвин и Лойола, посланы в мир «дьявольским Промыслом», «Предопределением», *praedestinatio diaboli*, для наибольшего разделения, разделения Церквей, именно в ту минуту, когда с наибольшею ясностью поставлен перед человечеством вопрос о будущей Единой Вселенской Церкви.

Вторая общая воля Кальвина и Лойолы – к порядку.

«Целью нашей да будет слава Божья и прекрасный порядок», *bel ordre*, – завещает Кальвин, умирая; то же мог бы завещать и Лойола. [22] Та же у обоих *disciplina*; тот же латинский гений Порядка, Правила и Упражнения. Этот «прекрасный порядок» покупается у обоих такую же страшную цену свободы: «Будь послушен, аки труп», «*perinde ac cadaver*». [23]

Третья общая воля их – ко всемирности.

«Царство Господа нашего, Иисуса Христа, да умножится в отдаленнейших землях», – завещает Кальвин; то же мог бы завещать и Лойола. Проповедь и власть Иисусова Общества – от Европы до Китая и Бразилии. Там, на краю земли, у Антиподов, встретятся два Иисусовых Общества – воинства – Лойолы и Кальвина, чтобы сразиться за власть над миром.

Можно бы поставить рядом на площади Святого Петра два памятника – Лойоле и Кальвину, потому что, явно и вольно враждуя, тайно и невольно согласуясь, оба они служат одной и той же вечной воле Рима в трех главных действиях его – в спасении не личном, а общем, в осуществлении порядка и в установлении единства под властью Рима:

Римлянин, помни завет быть владыкою мира.
Tu regere imperio, Romane, memento.

5

«Все это дело – только шалость маленького бесенка, едва научившегося грамоте, – скажет Лютер о „Царстве Божиим“, Теократии в городе Мюнстере. – А если даже это – дело самого Сатаны, великого и премудрого, то все же скованного Божьими цепями так, что он не мог действовать с большею ловкостью. Так остерегает нас Бог, прежде чем дать свободу такому дьяволу, который нападет на нас уже не с азбукой, а со всей своей наукой. Если такой беды наделал дьяволенок-школьник, то чего не наделает сам высший Сатана, ученый и премудрый богослов?»

Мюнстер есть мнимое Царствие Божие, действительное царство дьявола – сумасшедший дом, смешанный с домом терпимости, где Иоганн Лейденский, Ганс Боккальд, подмастерье портного, актер и всесветный бродяга, муж семнадцати жен, объявляет себя «Царем Христом». Только что пал Мюнстер, в 1535 году, как в 1536 году восстает Женева. Как бы в двух наглядных картинках, дьявол показывает людям, как может осуществиться на земле, в исторической действительности, проповеданное Евангелием Царство Божие. Делаются одновременно две одинаково жалкие и страшные попытки осуществить это Царство – в Мюнстере, человеческим безумием, а в Женеве – человеческим разумом. «Предопределение» Реформы, может быть, сказывается в одновременности и этих двух попыток. Два близнеца, сросшихся в личном порядке, – Кальвин и Лютер, а в порядке общественном – Женева и Мюнстер. «Маленький дьяволенок-школьник, едва научившийся азбуке», действует в Мюнстере, а в Женеве – кто? Не сам ли «высший Сатана, ученик и премудрый богослов», – Кальвин? Этот вопрос мог бы задать себе Лютер. [24]

«Богу единому принадлежит власть над этим народом, – говорит Кальвин в самом начале своего церковно-государственного дела в Женеве, и в самом конце, уже перед смертью, скажет верховным правителям города: – Бог да будет нашим единственным Правителем и да принадлежит Ему всякая над нами власть». [25] «Если вы хотите, чтобы Бог сохранил вашу республику в том благополучном состоянии, в каком она сейчас находится, то больше всего храните то место, которое Он в ней избрал, – святую Церковь – от всякого пятна и порока, ибо Он сказал, что почитит тех, кто Его почитает. Он один – великий Бог, Царь царствующих и Господь господствующих, и нет иной власти, кроме Него». [26]

«Как в человеке есть две управляющих силы – одна для души и для вечной

жизни, а другая – для тела и для жизни временной, так должны быть и в мире две власти – государство и Церковь. Две эти власти никогда не должны смешиваться, потому что сам Бог их разделил», – учит Кальвин.[27] Но Церковь от государства он отделяет только в отвлеченном умозрении, а в жизненном действии смешивает. Он вообще говорит одно, а делает другое; это надо всегда помнить, чтобы понять его как следует. Власть государственная – такой же для него «Порядок Божественный», *ordo Dei*, как власть Церкви.[28] Этот сплав государства с Церковью есть небывалый во всемирной истории опыт.

«Власть государственная столь же необходима людям при их государственных немощах, как хлеб, вода, воздух и солнце». Но все-таки высшая власть принадлежит не государству, а Церкви; Церковью государство поглощается. В противоположность Римской теократии, где Церковь снижается до государства, в теократии Кальвина государство возвышается до Церкви.[29]

6

Ветхий Завет отменяется Евангелием. «Ветхий Завет поработает, а Новый – освобождает».[30] Так опять-таки в отвлеченном умозрении Кальвина, а в жизненном действии иначе. «Откуда почерпнул свое учение Христос, как не из Моисея? Все, что есть в Евангелии, взято из Закона».[31]

«О, если бы вы могли увидеть, как ваше Евангелие искажено Ветхим Заветом!» – глубоко и верно скажет Михаил Сервет, сожженный Кальвином «еретик».[32] В самом деле, если не в умозрении, то в действии, Кальвин превращает Новый Завет в Ветхий, христианство – в иудейство: новое вино вливает в старые мехи: мехи разорвутся, и вино пропадет.

Хуже нельзя истолковать слово Господне: «Не знаете, какого вы духа», – чем это делает Кальвин: «Когда ученики хотят низвести огонь с неба, как Илия пророк, чтобы казнить Самарян, то Господь не говорит, что ревность их не та, что у пророка Илии».[33]

Кальвин – второй Моисей, осуществляющий Евангелие по скрижалям Синая. В Женевской теократии государство – царь Саул, а Церковь – священный Самуил. В «царственном Священстве» Женева власть государственная подчиняется власти церковной, как царь Саул – Самуилу священнику.[34]

Все христианство для Кальвина – только украшение Ветхого Завета, Закона, в отвлеченном умозрении, как бы драгоценный камень на рукояти меча, а в жизненном действии – голое лезвие меча – Ветхий Завет.

7

Весь религиозный опыт Лютера начинается с антиномии Закона и Благодати, насилия и свободы. «Ересь есть нечто духовное: вырубить ее нельзя никаким железом, выжечь – никаким огнем, ни в какой воде – утопить; это делается только словом Божиим».[35] «Вера безгранично свободна; нельзя сердце заставить верить никакой силой; самое большее, что можно ею сделать, – это принудить слабых людей ко лжи».[36] «Духу Святому противно сжигать еретиков».[37] Но это лишь одно из двух учений Лютера, а вот и другое: «Я думал, что можно управлять людьми по Евангелию, а теперь понял, что люди его презирают; чтобы ими управлять, нужен государственный меч и насилье».[38] «Слушаться надо Закона, и дело с концом».[39] «Государь – боги, народ – Сатана». «Вечен Закон и божественен; он возвещает святую Господню, поражает и проклинаяет, готовя дело спасения... Грешных людей отвергает Закон, без которого нет ни Церкви, ни государства, ни семьи – ничего, что делает людей людьми, – значит опрокидывает бочку вверх дном; это невыносимое дело». «Кто уничтожает Закон, пусть уничтожит сначала грех». «В сердце нашем и в совести начертан Закон, и только диавол хотел бы его исторгнуть из них. Легкие умы думают, что достаточно услышать кое-что из Евангелия, чтобы стать христианином. Нет, познайте и ужас Закона. Благодать и надежда нужны, чтобы родилось покаяние, но и угроза нужна».[40]

Этим Лютер кончает, а Кальвин начинает. Для него, в противоположность Лютеру, нет неразрешимого противоречия между свободой и насильем, Благодатью и Законом. Лютер мучается этим противоречием, задыхается в нем, как в мертвой петле диавола («Сколько раз нападал на шею диавол и душил почти до смерти, напоминал, что следствием проповеди моей было восстание крестьян!»), а Кальвин этого противоречия даже не видит. Только в отвлеченном умозрении он ставит свободу выше насилия: «Всякого непослушного

Мережковский Д. Кальвин filosoff.org
Слову Божию[41] не считайте врагом, но увещивайте, как брата, по слову Апостола. Церковь должна не казнить заблудших, а миловать». [42] Так – в умозрении, в созерцании, но не так – в действии; здесь опять он говорит одно, а делает другое; мягко стелет – жестко спарт. «Больше, чем кто-либо, мы желали бы, чтобы все, живущие во вражде с Богом, лучше свободно вернулись к Нему, чем быть к тому принуждаемы внешней никого не исправляющей силой. Но так как Господу угодно было вовлечь нас в эту войну, не давая нам ни минуты покоя, то мы будем сражаться до конца, как бесстрашные и непоколебимые воины, тем оружием, какое Господь дал нам в руки, и мы знаем, что под знаменем Его мы победим». [43]

Каждый человек в отдельности должен быть «послушен, как труп», *perinde ac cadaver*, по учению Лойолы, а по учению Кальвина, весь народ – все человечество. Страшная цель у обоих одна: душу человека опустошить от всего человеческого так, чтобы в нем мог обитать Бог. Верно понял Боссюэт совершенное согласие протестантов и католиков в необходимости насилия против еретиков. [44] Вот плачевное, князю мира сего удобное «Соединение Церквей».

Так же, как св. Доминик в XIII веке, Кальвин в XVI-м «горит святым желанием сокрушить челюсти еретика и вырвать из них добычу». [45] В новой Женевской Инквизиции точно так же, как в старой Испанской, Церковь предаёт осужденного еретика на сожжение власти мирской, потому что «духовная власть никого не должна казнить смертью». В 1229 году император Фридрих объявляет ересь «государственной изменой», «оскорблением величества», а в 1424 году, в делах с учениками Яна Гуса, борьба с ересью объявлена «охраной человеческого общества», *conservatio societatis humanae*. [46] То же сделает и Кальвин.

Новая Женевская Инквизиция учреждается с благословения Кальвина так же, как старая, Испанская – с благословения Папы – для искоренения ересей «посредством огня», *per via de fuego*. «Дело Веры», *actos de fe*, в обеих Инквизициях одно – костер. «Наша цель – оказывать великое милосердие к еретикам, избавляя их от огня, если только они покаются», – говорит Торквемада, и повторяет Кальвин. Это «великое милосердие» заключается в том, что палач удавливает петлей покаявшегося еретика до его сожжения на костре, что делается в обеих Инквизициях, Испанской и Женевской, почти одинаково. Торквемада, провожая осужденных на костер, плачет; так же будет плакать и Кальвин. [47]

«Не сам ли Бог, нашими руками, вешает, четвертует, сжигает бунтовщиков и рубит им головы?» – говорит Лютер; то же мог бы сказать и Кальвин, только заменив слово «бунтовщики» словом «еретики». «Да падет же их кровь на меня, и я вознесу ее к Богу, потому что это Он повелел мне говорить и делать то, что я говорил и делал». [48] Кальвин этого не говорит, но чувствует и делает разумно, спокойно. Лютер искупает свой грех тою мукой, о которой скажет: «Я никому, ни даже злейшим врагам моим, не пожелал бы страдать, как я страдаю». Кальвину этого ничем не нужно будет искупать. Лютер от этого умирает, а Кальвину этим живёт. Главная ошибка его в том, что насилие принято им, как вечная правда Божия, как святость, не антиномично и трагично, а благополучно и безболезненно, как должное, и так, как будто вовсе не было Голгофы – величайшего насилия, совершенного людьми над Сыном Божиим.

8

Самое страшное из всех совершенных Кальвином «деяний Веры» – *Actos de fe* – сожжение Михаила Сервета. Но прежде чем судить Реформу за этот костер, надо вспомнить тридцать тысяч костров Св. Инквизиции в Испании и пятьдесят тысяч – в Нидерландах. «Я более возмущен одною казнью Сервета, чем всеми жертвами Испанской Инквизиции», – скажет Гиббон и будет прав, потому что Реформа для того и началась, чтобы потушить костры Инквизиции. [49]

«Светом истины рассеивается мрак заблуждений, а не светом костров», – это общее место Кастильо делается огненным, благодаря огню Серветова костра. [50] «Я должен сам услышать, что говорит Бог». «Мысль, будто бы вера в Евангелие подчинена папской (или Кальвиновой) церковной власти, есть превратная, еретическая мысль». [51] Церковь от Христа, а не Христос от Церкви – этот новый, освобождающий религиозный опыт Лютера Кальвин забыл: у него Христос даже не от Церкви, а от полукеркви, полугосударства – Женевской Консистерии.

Жан-Жак Руссо выйдет из Кальвина, а из Руссо – Робеспьер. В опыте Женевской теократии видна нерасторжимая связь Реформации с Революцией. Нож гильотины выкован на огне Серветова костра.

Все это – оборотные стороны медали, но есть и лицевая, и, чтобы верно судить о ней, надо помнить и об этой.

«Свобода[52] – чудный дар Божий», – учит Кальвин. Из всех стран мира в Женеву собираются люди, которым свобода дороже отечества. Всем государственным правлениям Кальвин предпочитает народовластие, республику. «Избирательное право народа священно». Новые народные правители в Женеве – такие же поставленные Богом «Судьи», *Judices*, как в древнем Израиле. «Сволочью могут быть короли, а простые люди – детьми Божьими, определенными избранниками». «Богу служить – вот истинная свобода», *Deo servire vera libertas*. «Чем ниже склоняется человек перед Богом, тем выше возносится над людьми». [53]

Nabeas Corpus выйдет сначала из Женевской, а потом из Английской Реформации. Джон Нокс (*John Knox*), ученик Кальвина, шотландский реформатор, основатель Пресвитерианской Церкви, хочет, чтобы «все государи поняли наконец, что Евангелие есть высший закон для христианского человечества, и чтобы слова молитвы Господней „Да приидет Царствие Твое“ не были только пустыми словами». [54] Кромвель будет тоже бороться за Теократию и Демократию вместе, потому что это для него не два понятия, а одно.

«Праздновать должны бы Женевские граждане день рождения Кальвина и день его прибытия в Женеву как два счастливейших дня своей республики», – скажет Монтескье. [55]

Кальвин, основатель Женевской Теократии – кузнец всей будущей Европейской Демократии. Новую политическую свободу он выкует из древнего железа – Ветхого Завета – Закона.

9

Но вся политика у Кальвина – только выводы из его метафизики, чья главная движущая ось есть тот религиозный опыт, который он называет «Предопределением», *Praedestinatio*.

Что такое Предопределение? Вот как отвечает Кальвин на этот вопрос: «Предопределением мы называем вечную в судьбе каждого человека волю Божью, потому что не все люди созданы с одинаковой целью, но одни – для вечной жизни, а другие – для осуждения вечного». [56] Это значит: Богом разделяется все человечество на две неравные части – одну, неизмеримо меньшую – не по заслугам наверное спасающихся, а другую, неизмеримо большую – наверное без вины погибающих; на получивших даром Благодать и на лишаящихся ее также даром. «Преданы злой воле своей осужденные потому, что Бог в праведном, хоть и непостижимом, суде Своим хотел умножить славу Свою». «Первый человек пал, потому что этого хотел Бог, а почему хотел, мы не знаем; знаем только, что не хотел бы, если бы не предвидел, что этим слава Его будет умножена». «Осуждающих Бог попускает, но и обрекает на гибель, потому что слово Божие есть высшая цель всего творения; Бог же прославляется не только „милосердием Своим, но и в правосудии“. Странно, что люди могут умножать и умалять „слово Божие“, что Бог, как будто, нуждается в человеческой славе – только боится, что вечное осуждение невинными может оказаться не „славой“ для Него, а позором.

„Слова Божия не слышат осужденные, или, слыша, только ожесточаются, потому что Бог не определил их к спасению. Злую волю их Он мог бы изменить, потому что Он всемогущ; но Он этого не хочет. Почему? Мы этого не знаем и не должны испытывать больше, чем нам должно знать“. „Я говорю[57] с Августином, что Бог создал тех, о которых Он знал наперед, что они погибнут, и что Он это сделал, потому что так хотел. А почему хотел, мы не должны спрашивать и понять не можем“. [58]

„Божье правосудие“, в устах Кальвина – только пустое, ничего не значащее слово, как верно замечает один исследователь. „Если Бог, без всякой понятной для нас причины, одних из находящихся в одинаковом состоянии людей оправдывает, а других осуждает, то утверждение Кальвина, что Бог правосуден, в каком-либо для человека понятном смысле, недоказуемо“.

Мережковский Д. Кальвин filosoff.org
„Кальвин допускает (так же, как Лютер), в своем Богооправдании, Теодицее, двух противоречивых Богов“: Бога и Противобога – дьявола. [59]

„Славе Божьей“, „gloria Dei“, служит гибель большей части невинно, от начала мира, осуждаемого человечества; это самая чудовищная из всех человеческих мыслей», – верно замечают и другие исследователи. [60]

«Бред сумасшедшего не порождает ничего более ужасного». «Если в это поверить, то можно с ума сойти от отчаяния». [61]

Кажется, сам Кальвин это иногда чувствует: «Я признаю, что этот приговор ужасен, *Decretum guidem horribile fateor*». [62]

Может быть, логика его не так совершенна, как это кажется ему самому и другим; но даже совершенная логика не спасла бы его от этих чудовищных выводов, потому что отвлеченнейшие мысли его страстны, а логика на службе у страсти так же опасна, как нож в руке сумасшедшего.

10

«Предопределение есть лабиринт, из которого ум человеческий не может найти выхода», – говорит Кальвин теми же почти словами, как св. Августин: «Я искал мучительно, откуда зло, и не было исхода». [63] Кружатся, кружатся оба, путаются в противоречиях, как в лабиринтных извилинах. Противоречие свободы и принуждения – не только в человеке, но и в Боге. «Люди грешат необходимо, потому что по своей природе они грешны». «Зло человек делает по своей воле, потому что воля всегда (необходимо) склоняется к злу». «Вольно грешит человек». «Бог не хочет от нас послушания рабского, но хочет свободной воли». «Человек не может не только делать, но и желать добра». [64]

Если человек создан Богом, так что не может не делать того, что делает, и если нельзя обвинять человека за то, что для него неизбежно, то Бог – виновник зла. Воля человека должна быть свободной в выборе добра и зла, чтобы не был Бог виновником зла; воля человека не может быть свободной, потому что волей его ограничивалась бы воля Божья, и Бог не был бы всемогущ. В этих противоречиях мыслей Кальвин путается, бьется, как муха в паутине. Человек – муха; кто же паук, Бог или дьявол? «Мы этого не знаем»; мы не должны заглядывать в «сокровенную бездну судов Божьих». [65]

Кажется иногда, что Кальвин радуется «ужасу» Предопределения; содрогается, заглядывая в эту бездну, и тянется к ней. «Блеск славы Божьей не только ослепляет человека, но и сжигает его, испепеляет». [66] Кажется иногда, что Кальвин хочет быть испепеленным.

«Два или Один? Бог или дьявол, или Бог дьявол?» Этот Лютеров ужасающий вопрос не приходит в голову Кальвину. «Ох, куда мне деваться, куда мне деваться? wo soll ich bin?» – этой Лютеровой смертной тоски Кальвин не знает. [67] В религиозном опыте зла Лютер был зорче Кальвина. «Бог хранит для нас великие искушения, в которых мы уже не знаем, не дьявол ли Бог, и не Бог ли дьявол». [68] Эту расставленную для него не Богом, конечно, а дьяволом сеть искушения Лютер увидел издали и обошел, а Кальвин увидел только тогда, когда уже запутался в ней, как в тех лабиринтных извилинах, из которых «нет выхода». Выхода нет для ума, но для воли есть, потому что уму недоступны те последние глубины религиозного опыта, где только и может решиться вопрос: «Откуда зло?» (*Unde sit malum?*), но [69] доступны воле. Это Лютер понял, а Кальвин, слишком веривший, как все «интеллигенты», «умственники», в безграничную силу ума, – этого понять не мог.

«К Богу никто не может прийти, стараясь понять всемогущество Его и премудрость, а может только понимать милость Его и благодать, явленные Им во Христе». «Снизу должно всегда начинать, думая о Боге, – с Иисуса Христа в Его воплощении и страдании; только в Его воплощении и страдании; только в них мы находим Отца. Кто же начинает сверху (с Бога Отца), тот ломает себе шею». [70] Кальвин начал не «снизу», а «сверху» (то, что он называет «славой Божьей», не «милость и благодать» Отца в Сыне, а только «премудрость и всемогущество» Отца в самом Себе – и есть этот «верх»), – «сверху» начал Кальвин и «сломав себе шею».

Хуже всего то, что он сам не понимает, что с ним происходит, и, думая, что нельзя подойти к Богу иначе, как «сломав себе шею», хочет сделать и с

Мережковский Д. Кальвин filosoff.org
другими то же, что сделает с собой.

«Славе Божьей» служит вечно гибель большей части невинного, от начала мира осужденного человечества – эта чудовищная мысль в созерцании, а в действии крайнее насилие Женевской теократии, в которой делается метафизически противоестественная, течение времени обращающая вспять попытка вернуться от Нового Завета к Ветхому, от свободы к Закону, и есть это «ломание шеи».

11

В главном религиозном опыте своем, «Предопределении», Кальвин будет один против всех; в этом враги и друзья восстанут на него одинаково.

Бывший ученик его, беглый кармелитский монах, Иероним Бользек (Bo1sec), перешедший в протестантство, выразит лучше всех это общее возмущение против Кальвина. «Бог его хуже Сатаны!» – воскликнул однажды Бользек с церковной кафедры, и, хотя был за это посажен в тюрьму и едва не сожжен, все предчувствовали, что этот крик человеческой совести никогда не будет заглушен так же, как эти слова другого Кальвинова ученика, великого гуманиста, Себастиана Каstellлио, тоже едва на костре не сожженного: «Волк, если бы знал, что такое „великая погибель“, не пожелал бы на нее родить волчонка; но лютее лютого волка Бог Кальвина». [71] И наконец, третий бывший ученик его, основатель Методистской Церкви в Шотландии, Весли (Wesley), объясняет, почему Бог Кальвина хуже Сатаны: потому что тот, страдая, хочет, чтобы все страдали, как он, а Бог Кальвина, блаженствуя, обрекает невинных на вечные муки. «Если бы мы этому поверили, то могли бы сказать диаволу: „Что ты суетишься, глупый? Дело твое делает Бог лучше тебя: ты только соблазняешь нас, и мы можем тебе противиться, а Бог принуждает нас делать зло, и мы Ему противиться не можем, потому что Он всемогущ“». [72]

«Бог Кальвина хуже Сатаны» – с этим согласиться и осудить за это Кальвина слишком легко. Но прежде чем судить его, надо вспомнить, что над тайной Предопределения не он первый задумался, и в ней, как в безысходном «лабиринте», запутался тоже не он первый, а до него – Лютер, Августин, Павел, а может быть, и тот, кто задал вопрос:

Господи, неужели мало спасающихся?

и услышал ответ:

Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут (Лука, 13:24).

Ибо много званых, а мало избранных (Матфей, 22:14).

Только мимоходом и как будто случайно вспоминает Кальвин, говоря об этих «избранных», одну из глубочайших и таинственнейших Евангельских притч – о «пшенице» и «плевелах»: «Есть такие семена, которые не Богом посеяны в мире и будут, по слову Господню (о „плевелах“), исторгнуты». [73] Если бы Кальвин глубже вдумался в эти сказанные им же самим и тотчас же забытые слова «не Богом посеяны», то, может быть, нашел бы путеводную нить в лабиринте.

И, приступив к Нему, ученики Его, сказали: «Объясни нам притчу о плевелах...» Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий. Поле есть мир; доброе семя – это сыны Царствия (Божия), а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть диавол» (Матфей, 13:36–39).

То же говорит Господь и самим «осужденным», не верующим в Него иудеям:

Ваш отец – диавол (Иоанн, 8:44).

Что отличает «пшеницу» от «плевелов»? То же, что истинное бытие отличает от мнимого, Бога – от диавола. «Доброе семя» – настоящие люди – те, у кого есть высокое лицо – личность, образ и подобие Божие, а «плевелы» – те, у кого, вместо лица, только пустая личина и, вместо действительного бытия, мнимое, – люди несущие. Первые могут грешить, падать, погибать, но погибнуть не могут, потому что они есть, а вторые ни спастись, ни погибнуть не могут, потому что их нет.

Как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет и при кончине века сего – «вечности земной», «*tuou ???????*» (Матфей, 13:40). «Плевелы», «сыны диавола», – мнимые, не-сущие люди – сгорят, как солома в огне; сгорание и будет для них «вечность мук»; а «пшеница» – «сущие» – «дети Божии» – спасутся все.

«Да будет Бог всё во всех», «Theos panta en pasin», по слову ап. Павла и по слову самого Господа:

Все да будут едино: как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они все будут в Нас едино... Я в них[74] (Иоанн, 17:21, 26).
Это последние слова Сына Божия, сказанные людям на земле.

Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух... то откроет вам всю истину... и будущее возвестит вам (Иоанн, 16:12–13).

К этому будущему откровению уже не только Отца и Сына, но и Духа ближе всех, после Павла, Ориген (II–III век). Он первый понял, что значит «Да будут все едино»; понял радостную тайну Предопределения – Восстановления всего, аrokatastasis panton: «Благость Божия, через посредство Иисуса Христа, вернет всю тварь к началу и концу единому... Ибо все падшие (но сущие, созданные Богом, а не диаволом) могут возвыситься (не только здесь, на земле, но и в вечности) от крайних ступеней зла до высших – добра».[75] Это значит: спасутся все. Нет Предопределения – Избрания – «двойного», как учит Кальвин, – спасение или гибель, а есть только одно – спасение.

«Избранных своих извлекает Бог из растленного множества, massa corrupta», – это верно понял Кальвин.[76] Если так, то вся жизнь человечества и то, что называем «Всемирной Историей», есть не что иное, как плавление золотоносного кварца или промывание золотого песка – отбор сущих людей – личностей – из не-сущего, безличного множества: добывание того чистого золота, из которого соиздается Град Божий – Царство Божие.

12

Кем посеяны «плевелы» – созданы те, кто осуждены на вечную смерть? Два ответа у Кальвина: созданы Богом – созданы диаволом; «Есть такие семена в мире, которые не Богом посеяны». Эти два противоречивых ответа – две стены одного лабиринтного хода, который приводит Кальвина к Минотавру чудовищу – Богу Диаволу.

«Зачем Бог создал тех, о которых знал наверняка, что они погибнут?» На этот незаглушенный, потому что от самого Бога идущий, вопрос человеческой совести у Лютера Кальвин отвечает вместе с ал. Павлом: «А ты кто, человек, что споришь с Богом?»[77] (Римлянам, 9:20).

«Я – сын Отца моего, по свидетельству Сына Божия», – мог бы ответить Павлу и Кальвину всякий верующий; мог бы ответить и так же, как Иов Праведный:

Я к Вседержителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с Богом.

И если бы он так ответил, то был бы оправдан Богом вместе с Иовом:

Горит гнев Мой на вас за то, что вы говорили обо Мне не так верно, как раб Мой Иов (Иов, 42:7).

Ближе к Богу и вернее судит о нем вечно-мятежный и освобождающийся раб, Иов, чем друзья его вечно-покорные и что такое свобода не знающие рабы.

Главный грех Кальвина в созерцании – догмат о Предопределении, так же как в действии, Теократии, – отказ от свободы.

«Будущее меня страшит; я не смею думать о нем, – признается он.

– Если только Господь не сойдет опять на землю, то варварство поглотит нас всех».[78] В этом страхе будущего у Кальвина – страх свободы. Тот же страх и у Лютера, но по другой причине: внешнего восстания человеческой личности – того, что люди наших дней называют «социальной революцией», – страшится Лютер, а Кальвин – внутреннего восстания человеческой личности – того, что люди наших дней называют «человеко-божеством». «Духом божеской, титанической гордости возвеличится человек и явится Человекобог» (Достоевский). Кальвин как будто уже предчувствует то, что у Гёте скажет Богу Прометей:

Здесь я сию и людей образую,
Племя, подобное мне,
Да плачут они и страдают
И радуются так же,

И так же Тебя презирают,
Как я.
Hier sitz'ich, forme Menschen
Nach meinem Bilde,
Ein Geschlecht, das mir gleich sei:
Zu leiden, zu weinen
Und sich zu freuen
Und dein nicht zu achten,
wie ich.

(Prometeus)

«Богу единому слава! Solo Deo gloria!» – спешит сказать Кальвин, как будто уже предчувствует, что скоро будет сказано: «Слава человеку единому!» «Должное получает Бог только тогда, когда человек уничтожен», – спешит и это сказать, как будто уже предчувствует, что скоро будет сказано: «Должное человек получает только тогда, когда Бог уничтожен». [79] Та горячая рубашка, которую хочет надеть Кальвин на титана Прометея, – все будущее, возмущившееся против Бога человечество, – и есть «ужас Предопределения». Но это, конечно, покушение с негодными средствами: Кальвинову горячую рубашку разорвет, как паутину, бешеный титан.

Ужас будущего гонит Кальвина к прошлому: он хочет обратить течение времени вспять – вернуться от Нового Закона к Ветхому, от будущей свободы – к бывшему закону.

Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня... проповедывать пленным освобождение... отпустить измученных (рабов) на свободу (Лука, 4:18).

Этого Кальвин как будто никогда не слышал, и для него Христос Освободитель как будто никогда не приходил. Сам того не сознавая и думая, что служит Христу, он хочет сделать так, чтобы Христос был, как бы не был; думая, что «славит Бога», хочет опрокинуть весь установленный Богом порядок вещей во времени, как бы вывихнуть его чудовищным вывихом, совершая в этой невозможной попытке не нравственное, а метафизическое преступление.

«Люди ничего не могут делать, кроме зла», – учит Кальвин. [80] Но вот «незаписанное» в Евангелии слово Господа, Аграфон, – слово Сына в Духе:

Люди, помогайте Богу, как Сын Марии сказал: «Кто Мне в Боге помощник?» и ученики сказали: «Мы». [81]

Людям помогает Бог – это известное, прошлое, а будущее, неизвестное: Богу помогают люди, не как рабы – господину, а как свободные – Свободному.

Кальвин не понял, что величайший из всех даров Божьих людям – свобода, и что в ней одной – истинная «слава Божия» – лучезарнейшее сияние лица Божьего в лице человеческом.

13

«Действие его до наших дней продолжается», – говорит Гёте о Лютере; можно бы сказать то же и о Кальвине. [82] Если так, то мы можем ничего не знать о нем, но он все-таки входит в наш духовный состав, как соль – в состав человеческой крови. И если для того, чтобы судить человека, надо знать, что он сделал, а дело Кальвина не кончено, то он все еще судится, и каков будет приговор, неизвестно. Не был никто ненавидим больше, чем Кальвин, но и любим тоже; сила, притягивающая к нему людей, равна силе отталкивающей, и это не только при жизни, но и после смерти.

«Маленький французишка», «низкой души человек», – думают о нем женеvские вольнодумцы, либертинцы (Libertins), ненавидевшие его за то, что он будто бы отнял у них свободу и сделал их изгнанниками в их собственном отечестве. «Стольким величьем запечатлел его Бог», – скажет один из членов Женевского Верховного Совета в надгробной речи над Кальвином. [83] «Память этого великого человека будет почитаема, а пока не угаснет в людях любовь к свободе и к отечеству», – скажет Руссо. [84] Два приговора в делах человеческих, в политике, и в деле Божьем, в религии – тоже два.

«Я и сам не знаю, каким духом я обуреваем, – Божьим или бесовским», – недоумевает Лютер. [85] Кальвин не сомневается, что им владеет Дух Божий. Но если сам он это знает о себе, то другие этого не знают о нем.

Зло и добро – последнее «да» и последнее «нет», сказанные, может быть, не

только христианству, но и самому Христу, смешаны в Кальвине так, что, смотря по тому, кто и откуда судит его, – он осужден или оправдан. Самое глубокое существо его меняется на глазах у людей, подобно двуличневой ткани, отливающей двумя цветами – то голубым, как небо, то красным, как пламя ада.

«Сердце мое сокрушенное приношу я Господу в жертву», – говорит он в одну из решающих минут жизни.[86] «Я во Христе жил и во Христе умираю», – скажет в смертный час, когда люди не лгут.[87] «Я прожил с ним шестнадцать лет и могу засвидетельствовать, что каждый христианин нашел бы в этом человеке совершенный образец христианской жизни», – вспоминает о нем первый ученик его и духовный наследник, Теодор Бэза.[88]

Вот один из двух цветов двуличневой ткани – голубой, как небо, а вот и другой – красный, как пламя ада. «Кто посмеет сказать, что этот палач и убийца – служитель Церкви Христовой?» – воскликнет Сервет перед тем, как взойти на костер.[89]

«Дух Антихриста живет не только на берегах Тибра, но и на берегах Лемана», – скажет через два века после Кальвина протестант, Гуго Гротий.[90]

Я знаю, как диавол искушает,
Как ловко он прячет рога
Под римскою белой тиарой,
Под черным женеvским плащом.
И прав я, когда ненавижу
Всех этих убийц-изуверов,
Служащих огнем и железом
Великому Богу любви.
Je sais que, souvent, le Malin
A cache sa queue et sa griffe
Sous la tiare d'un pontife
Et sous le manteau de Calvin
Je n'ai point tort quand je deteste
Ces assassins religieux,
Employant le fer et les feux
Pour servir le Pere celeste –

скажет Вольтер и подумает, что приговор его над Кальвином окончателен. Но и это опять только один из двух приговоров, а вот другой: «С виду казался он суровым, но в более близком общении не было человека нежнее, чем он», – свидетельствует все тот же проживший с Кальвином шестнадцать лет «в близком общении» Теодор Бэза.[91] «Я знаю, мой друг, твою природную нежность; многие тебя считают даже слишком чувствительным», – пишет друг и сподвижник Пьер Вирэ.[92] «Ты знаешь неясность, чтобы не сказать слабость, моей души», – признается тому же Вирэ сам Кальвин.[93]

«Сколько лет желал я тебя увидеть и как молился об этом!» – пишет ему, точно влюбленный, бывший инок Августинского Братства, Жан де л'Эспин (l'Espine). «Когда же, наконец, я увидел тебя, то не мог оторвать глаз моих от лица твоего и насытиться им. Некая таинственная сила в речах твоих и в голосе влекла меня к тебе, и я полюбил тебя так, как никогда никого не любил». [94]

Все, кто ближе подходит к нему, более или менее чувствуют в нем эту страшную для одних, а для других пленительную, как бы нездешнюю, «таинственную силу» – «магию». «Он – ученик Симона Мага», – обличает его Сервет на суде. «Должно вам изгнать его из вашего города, как злого колдуна и мага». [95] «О, как бы я хотел, чтобы вся твоя магия погибла с тобой, еще во чреве матери твоей!» – говорит он в лицо самому Кальвину; это значит: «Лучше бы тебе и на свет не родиться, проклятый колдун!»

«Тщетна будет всякая попытка овладеть городом, потому что дьявольские силы охраняют его, пока он жив!» – пишет о Кальвине герцогу Савойскому, бывшему государю Женевы, посланный туда соглядатаем епископ Алардето да Мондови и предлагает «умертвить этого Люцифера, к чему все здесь, в Женеве, готово, и что будет святейшим и прекраснейшим делом не только за настоящий век, но и за будущий». [96]

Ужас этой «дьявольской силы», о которой говорит епископ Алардето, яснее всего чувствуют в Кальвине жертвы его, пытаемые в застенках Женевской Инквизиции. Может быть, в горячечном бреде, после пытки, он кажется им

Мережковский Д. Кальвин filosoff.org
каким-то неземным чудовищем – огромным, в человеческий рост, крестовым пауком.

«Кротким да будет судия, и, если даже, по необходимости, будет суров, да плачет сердце его и да истекает слезами», – учит Кальвин судей-палачей. [97] Что это: ложь, лицемерие? Нет, правда. Плачет «нежное» сердце у него самого, когда он слышит стоны пытаемых жертв. Но это не мешает ему видеть «особое Предопределение Божие» в том, что топор палача соскользнул на плахе с шеи двух казнимых и смертная мука их продлилась. [98]

«Так как Господу было угодно вовлечь нас в эту войну... мы будем сражаться в ней до конца... под знаменем Его». Знамя – Крест. Но лучше бы не было креста на пауке; лучше бы не было на Кальвине.

Кто же создал это неземное чудовище, Бог или диавол?

«Там (в море) этот Левиафан, которого Ты создал играть в нем», – говорит человек Богу, и Бог – человеку:

Можешь ли удою вытащить Левиафана?.. Вденешь ли кольцо в ноздри его?.. Не упадешь ли от одного взгляда его?.. Угли раскаляет дыхание его... Сердце его твердо, как камень, и жестко, как нижний жернов...

Сила обитает на шее его, и перед ним бежит ужас... Светится за ним стезя; сединою кажется бездна... Нет на земле подобного ему (Иов, 40:20, 21; 41:1, 13, 14, 16, 24, 25).

«Стольким величием запечатлел его Бог», – можно бы сказать о каждом из этих двух чудовищ – Левиафане и Кальвине. Так первоизданны в нем зло и добро, что, может быть, не люди будут судить его, а Тот, кто создал его таким, каков он есть.

14

В Кальвине присутствует, в высшей степени, то, что Гёте называет демоническим.

«Мы говорим о той загадочной силе, которую все чувствуют, но никто не может объяснить, и от которой верующие отделяются только утешительными словами, – вспоминает Эккерман. – Гёте называет эту невыразимую тайну „демонической“, и, когда он так обозначает ее, мы чувствуем, что так оно и есть, и нам кажется, что какая-то завеса приподымается над глубиной жизни нашей и что мы можем дальше куда-то заглянуть, увидеть что-то яснее; что тайна эта слишком для нас глубока и что взор наш достигает только до какой-то черты».

«Демоническое, – сказал Гёте, – для нашего ума неразложимо. Во мне его нет, но я ему подчинен. Демоническое сказывается вообще в разнообразнейших явлениях всей видимой и невидимой природы».

«Нет ли его в Мефистофеле?» – спрашивает Эккерман.

«Нет, – отвечает Гёте. – Мефистофель – существо слишком отрицательное, а демоническое бывает всегда положительно-творческим... Сила эта накидывается охотнее всего на великих людей и любит сумеречные века». [99]

Кажется, и Фауст, сходящий в Царство Матерей, говорит о «демоническом»:

Священный ужас – лучший жребий смертных.

И Мефистофель, напутствуя Фауста к Матерям, о том же говорит:

Спустишь же! Мог бы я сказать и «подымись»!
Здесь верх и низ одно и то же. [100]

Ужас «демонического» и заключается именно в том, что человек, вступая в него, уже не знает, куда идет, вверх или вниз, к спасению или к гибели. Гёте ошибается, утверждая, что «демоническое бывает всегда, durchaus, положительно-творческим». Нет, вернее было бы сказать, что здесь та сумеречная область, где свет борется с тьмой, и то, что человека спасает, – с тем, что губит его: «Тут диавол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей» (Достоевский).

В битве этой и Кальвин участвует, как все «демонические» люди в истории;

так же и он, как все они, –

Свершитель роковой безвестного веления.

Люди наших дней, даже среднего умственного и нравственного уровня, чувствуют пока еще смутно, но с каждым днем все яснее, что заблудились и ходят в темноте, может быть, по самому краю невидимой пропасти, больше чем с опасностью – почти с уверенностью сломать себе шею (если вторая Великая Война неизбежна). А люди нравственного и умственного уровня немного повыше и не совсем невежественные в истории того, что все еще им дорого под именем «европейской цивилизации», начинают все яснее понимать, что христианство, может быть, не так безнадежно кончено, как это казалось их отцам и дедам; что оно уже кое-что сделало и, вероятно, могло бы еще кое-что сделать для заблудившегося человечества. Если люди в этом не ошибаются и если прав Гёте в двух своих религиозных опытах – в том, что «демоническое всегда (или, по крайней мере, иногда) бывает положительно-творческим», и в том, что дело Реформы до наших дней продолжается; если все это так и Кальвин действительно входит в духовный состав христианского человечества, как соль – в состав человеческой крови, то людям наших дней нужно было бы знать, какого «безвестного веления» Кальвин, в своем демоническом действии, «свершитель роковой»; что он сделал и, может быть, все еще делает для Реформы, а значит, и для всего христианства – губит его или спасает. Может быть, этот вопрос и ответ на него – один из тех многих, все решающих, хотя почти еще никем не услышанных, вопросов и ответов, которые могли бы сделаться для людей нашего времени началом спасения – первым лучом света для заблудившихся в темноте, на самом краю невидимой пропасти. Но, кажется, и в этом случае, как в стольких других, сказанное о Лютере, одном из двух близнецов, сросшихся и вечно враждующих, можно бы сказать и о другом близнце – Кальвине: чтобы лучше понять, что он сделал, надо знать, как он жил.

II. ЖИЗНЬ КАЛЬВИНА

1

«Я не люблю говорить о себе, – признается Кальвин. – Я молчу, не открываю уст моих, потому что Ты, Боже, соделал это».[101] В той же мере, как Лютер откровенен, Кальвин скрытен: «Я всегда любил тень».[102] Вот почему жизнь Лютера вся, как на ладони, а жизнь Кальвина, по крайней мере в первой половине, скрыта, невидима. Чтобы увидеть ее, нужен не солнечный свет, а какой-то иной, подобный «темному свету» радия.

Золото, серебро, медь, железо – если таковы символы прошлых великих Веков, Эонов – последовательных возрастов человечества, то символ нашего, только что родившегося великого Века – таинственнейший из всех металлов, творчески-разрушительный, животворно-убийственный, вездесуще-невидимый Радий. «Лучшего символа для демонического нельзя себе и представить», – мог бы сказать Гёте, если бы знал о чудесах радия. Сам невидимый, дает он человеку ясновидение; тело человеческое делает прозрачным, как стекло, – вот одно из этих чудес.

Если лучший символ нашего «демонического» века – радий, а Кальвин – одно из величайших «демонических» явлений всемирной истории, то ключ к загадке его могли бы найти лучше всего религиозные люди наших дней.

Кальвин о себе говорить не любит; о самом главном и глубоком для него молчит. Только однажды проговорился: «Я сознаюсь, что этот приговор ужасен», – приговор Божий над большей частью невинно, еще до создания мира, на вечную гибель осужденного человечества. Этим-то ужасом освещена, как темным светом радия, вся утаенная жизнь Кальвина. «Сердце мое сокрушенное приношу я Господу в жертву». Сердце Кальвина сокрушено, истерзано тою же вечною мукою – вечным вопросом, как сердце Павла, Августина и Лютера: «Что такое Зло и откуда оно? Где причина Зла – в Боге или в человеке? Как величайший дар Божий человеку, Свобода, связана с тайною Зла?»

Так же как глаз врача, вооруженный радиоскопом, проникает в тело больного, глаз историка, вооруженный тем религиозным опытом, который Кальвин называет «ужасным приговором», проникает в душу Кальвина. Жизнь его непроницаема для исторически внешнего, смутного видения, а для религиозно-внутреннего, «радийного» ясновидения – прозрачна. Если так, то лучшим биографом Кальвина был бы тот, кто мог бы сказать: «Тою же мукою истерзано и мое сердце, как его; тот же Приговор ужасный и надо мной тяготеет, как над ним». Это и

Мережковский Д. Кальвин filosoff.org

значит: лучшее жизнеописание Кальвина – самописание того, кто об этой жизни пишет; здесь уже история – исповедь. Надо понять по собственному религиозному опыту творчески-разрушительное, светло-темное, «демоническое» – «радийное» в Кальвине, чтобы узнать, как он жил.

2

Кальвин родился 10 июля 1509 года, в городе Нойон, в Пикардии.

Существуют вулканические страны, где тоньше земная кора, к подземному огню ближе, и где землетрясения, извержения вулканов так же постоянны, как в живом теле дыхание или биение сердца. В смысле духовном, Пикардия – одна из таких вулканических стран.

Петр Пустынник, поднявший почти все народы христианского Запада в первом Крестовом походе, родился в Пикардии. Здесь же началось движение свободных городских Коммун. Жак Феррэ, вождь великого крестьянского восстания, Жакери, – тоже из Пикардии. Здесь же родился и Жак Лефевр д'Этапл (Lefevre d'Etaples) – первый, задолго до Лютера, учитель новой «Евангельской веры» во Франции. Самые крайние вожди Великой Революции, Камиль Демулин (Desmoulin) и Гракх Бабёф (Babeuf), выйдут отсюда же. Но величайший из пикардийских мятежников – Кальвин. [103]

Тотчас за воротами Нойона начинается великая равнина с голубоватыми, низкими холмами, хлебными полями и виноградниками. Между ними извивается река Уаза, с медленно тянущимися по ней плоскодонными барками. Всюду вековая тишина.

Лишь ветер шелестит порою
В вершинах придорожных ив,
Да изгибаются дугою,
Целуясь с матерью-землею,
Колосья бесконечных нив...

«Среднего достатка людьми» были родители Кальвина, по сообщению Бэзы. [104] Лютер – человек из народа, а Кальвин – из того среднего сословия, откуда лучше всего видно, что происходит внизу, в народе, и наверху – у людей власти.

Дед Кальвина по отцу – понт-эвейский бочар; двое дядей – кузнец и слесарь в Париже. Только один из трех братьев Ковенов («Кальвин», Calvinus, – латинский перевод французского имени Sauvin, что значит «Лысый»), Жерар, вышел в люди.

Мэтр Жерар Ковен, апостолический нотариус, секретарь Нойонского графства, фискальный прокурор или стряпчий соборного Капитула, был полумирянин, полуцерковник – доверенное лицо всего нойонского клира и знати – церковный законовед или, как злые языки о нем говорили, «сутяга», «ябедник». «Был он человек большого ума и житейского опыта, чем вошел в милость у многих знатных лиц в городе», – вспоминает Бэза. [105] Крестным отцом маленького Жана, второго сына мэтра Жерара, был один из почетных каноников Нойонского соборного Капитула. Дом, где он родился, находился в самой середине города, на Хлебном Рынке, Place-au-Blé. [106] У Кальвина было трое братьев: старший Шарль и двое младших – Антон и еще один, неизвестный по имени, умерший в раннем детстве, и две сестры. [107]

Мать Кальвина, Жанна Лефран (Lefranc), дочь разбогатевшего камбрейского харчевника, именитого нойонского гражданина, члена Городского Совета, «была одной из прекраснейших женщин своего времени» и славилась глубоким благочестием. Маленького Жана «учит она молиться не только в церкви, но и под открытым небом, на воле». [108]

Кальвин унаследует от матери два драгоценных дара – благочестие и то очарование, которое будет ему давать непонятную власть над людьми, таинственную, к нему влекущую силу – «магию». Внешнее благородное изящество в наружности его – тоже от матери. [109]

Два противоположных чувства у маленького Лютера и у маленького Кальвина – от громовых гулов Dies Irae и от страшного лица Христа Судии: что одного ужасает в них, отталкивает, то привлекает другого: «Страшно!» – мог бы сказать тот, а этот – «Сладко!»

«Нойон Святой», Noyon-la-Sainte, – имя это дано было Нойону из-за множества церквей и монастырей. Первыми звуками, поразившими слух маленького Жана, был немолчный благовест нойонских колоколов, а первым зрелищем, которое он мог видеть из окон, были уличные драки монастырских послушников и соборных клириков из-за мощей св. Элуа (S. Eloi). Спор шел о том, у кого мощи эти настоящие, у черного духовенства или у белого. Спорили также и дрались до крови из-за двух волосков св. Иоанна Предтечи и из-за двух зубов Господних. «Зуб у вас фальшивый!» – кричал один; «Нет, у вас!» – отвечали другие, и начиналась драка на Хлебном Рынке, под самыми окнами дома, где жил маленький Жан. [110]

Он начал учиться в школе «Капеттов» (Capettes), «Черных колпачков», – от латинского слова «сарра» – маленький черный плащ с колпачком, обычная одежда школьников. «Кальвин превосходил их всех остротой ума и верностью памяти», – вспоминает Бэза. [111] «Он уже в раннем детстве отличался великим благочестием и был строгим судиею всех пороков школьных товарищей своих», – вспоминает тот же Бэза. [112]

Мальчику шел двенадцатый год, когда отец выхлопотал ему четвертую часть церковных доходов, с одной из соборных часовен, вместе с капелланской должностью. В знак мнимого сейчас и действительного только в будущем, при совершеннолети, посвящения в сан, выстригли ему на темени круглое гуменцо тонзуры и наняли священника, чтобы служить обедню в часовне, вместо малолетнего капеллана. [113]

Несколько времени спустя мэтр Жерар выхлопотал сыну еще один приход – Мартевильский, в ближайшем соседстве с Нойоном, а затем обменял его на Понт-Эвейский, более выгодный. Мальчик исправно получал доходы за все эти мнимые должности. Это было в те дни столь обычным делом, что почти никто не видел в этом греха. В 1517 году, за год до посвящения Жана, папа Лев X облек одного восьмилетнего мальчика в кардинальский пурпур; в 1502 году герцог Жак Лорренский, четырех лет от роду, посвящен был в метские епископы, а в былые времена возведен на Святейший престол двенадцатилетний папа Бенедикт IX. [114]

Имя этого страшного греха – «симония», «торговля Духом Святым», – Кальвин узнает потом и, может быть, с ужасом почувствует тогда в холодке на голом темени, где выстрижено было гуменцо тонзуры, как бы веяние самого Духа Нечистого. Но это будет еще не скоро. «Я был тогда всею душою предан папским суевериям». [115]

В школе Капеттов Жан Ковен подружился со старшим сыном знатнейшего в Нойоне вельможи, сеньора Монмора (Montmor) и принят был в дом его, где его полюбили и почти усыновили. «Первые шаги в науке и в жизни я сделал вместе с тобой, в твоей благородной семье», – напомним Кальвин старшему из сыновей Монморов, Шарлю, посвящая ему свой первый труд, ученое истолкование книг Сенеки «О милосердии». [116]

Признак власти был на Кальвине с детства. Маленький Жан казался таким же «сеньором», как и маленький Монмор. В духе у него было то же благородство, что у них в крови, и, может быть, даже это было больше того, несомненное. Скоро будет ясно для всех, простых и знатных, что этот внук бочара и харчевника не склонит головы перед внуками не только владетельных князей и герцогов, но и самих королей; будет среди них, как первый среди равных.

В 1523 году опустошила Нойон «черная Смерть», чума, будущая спутница Кальвина во всю его жизнь. В том же году умерла мать его, и мэтр Жерар женился во второй раз на вдове. Жану, в это время, четырнадцать лет, и, значит, он уже все понимает и, может быть, болезненно чувствует, какая разница между матерью и мачехой. [117] Если об отце, хотя и редко, все же будет вспоминать, а о матери никогда, то это, вероятно, не бесчувственность, а целомудрие очень сильного чувства. [118]

В августе 1523 года Монморы предложили мэтру взять сына его, Жана, в Париж, чтобы он мог продолжать учение в лучших школах, вместе с их детьми. Мэтр Жерар согласился на это с радостью и отправил сына в Париж. [119]

Мережковский Д. Кальвин filosoff.org

Маленький Жан, поселившись в Париже у дяди своего, кузнеца Ришара Ковена, недалеко от Лувра, в тесной улочке против церкви Сэн-Жермена Оксерского (S. Germain d'Auxerrois), ходил на улицу Сэн-Жак, к Монморам сыновьям, с которыми учился, а также в школу Ла-Марш, college de la marche, где ректором был гуманист Матурин Кордье (Mathurin Cordier). Первый понял он две простейшие и потому трудные истины – что телесные наказания детей, розги и палки – бесполезная и глупая жестокость, и что живой французский язык так же нужен французам, как мертвый, латинский, а может быть, и нужнее. Маленький Жан подружился с учителем, несмотря на разницу возрастов, и дружба эта будет продолжаться сорок лет – до смерти учителя. [120] «Человек столь же ученый, как благородный», по свидетельству Бэзы, мэтр Кордье, ученик Эразма, Рейхлина, Эколампадия и других великих гуманистов Германии, – один из ранних французских протестантов до Лютера – один из подснежников той духовной весны, чьи первые веяния проносились тогда над всем христианским человечеством. Первое христианство в Церкви кончается, второе – начинается в миру, и сердца человеческие открываются солнцу этого второго христианства так же невольно и естественно, как весеннему солнцу – подснежники. Может быть, слушая, как мэтр Кордье повторяет слова молитвы Господней не на чужом, латинском, а на родном, французском языке, маленький Жан впервые понял, почему мать учила его молиться не только в церкви, но и под открытым небом, на воле. «Воля», «свобода», – слово это уже горело в сердце его, прежде чем произносить его научились уста. «Сладкость чистой (Евангельской) веры начал он в те дни вкушать», – вспоминает Бэза. «Если я что-нибудь сделаю для Церкви, то этим я буду больше всего обязан тебе», – скажет Кальвин Матурину Кордье. [121]

Кальвин пробыл не больше года в Ламаршской школе и, покинув ее с сожалением, не по своей воле, а вынужденный к этому «нелепым», как он сам называет его, воспитателем Монмором, перешел в Монтегийскую школу, College de Montaigu, мрачное, как бы тюремное здание на горе Св. Женевиевы. Все монтегийские школьники – «вшивая рвань», по слову Рабле. [122] Но маленький Жан остается и среди них опрятным, чистым, как стеклышко, потому что никакая нечистота к нему прикоснуться не может.

Ректор Монтегийской школы, Ноэль Бэда (Noel Beda), синдик Сорбонны, только что осудившей Лютера, был защитником Римской Церкви во всей ее неподвижности и злейшим врагом «Евангельской веры». [123] Здесь в Монтегийской школе Кальвин, может быть, впервые понял, что попал между двух огней и что надо ему будет сделать выбор между прошлым и будущим – между безопасной неподвижностью в рабстве и опасным движением к свободе. Но и нечто важное и нужное для будущего действия приобрел он в этой школе – всеоружие диалектики. После св. Фомы Аквинского не было более могучего и стройного богословского ума, чем у Кальвина.

В эти дни подружился он с Николаем Копом (Cop) и с нойонским земляком своим, двоюродным братом, Пьером Робером, будущим гуманистом Оливетаном, переводчиком Святого Писания на французский язык. Книга эта будет читаться тайком, при закрытых дверях, в замках и в хижинах, в тюрьмах и на каторге, и сжигаться на кострах, вместе с теми, кто ее читает. [124]

Маленький Жан, может быть, услышал впервые имя Лютера от маленького Пьера. Кто он такой, этот монах, восставший один на всю Церковь, – сам ли «диавол в человеческом образе», как объявлено было в указе императора Карла V, или «великий пророк Божий», как думал Кордье? Этот вопрос, может быть, шевелился уже и тогда, если не в уме, то в сердце обоих школьников. Вечная слава Оливетана – то, что он приобрел или, по крайней мере, начал приобщать Кальвина к «чистой Евангельской вере». [125]

В том самом 1528 году, когда Кальвин вышел из Монтегийской школы, Игнатий Лойола в нее вошел. Там, на горе Св. Женевиевы, могли они встретиться, восемнадцатилетний француз, по своему обыкновению, верхом на коне, и тридцатилетний испанец, пеший, хромым, нищий и погонявший осла, нагруженного книгами. [126] «Нет случая... только духовная косность, не постигающая тайны Предопределения, называет „случаем“ Промысел Божий», [127] – учит Кальвин. Если так, то в этой не случайной, а необходимой встрече его с Лойолой поставлен был людям вопрос: где совершится истинная Реформа; откуда будет снова начат прерванный путь человечества к Царству Божию – в Церкви или в миру?

Кончив Монтегийскую школу, Кальвин хотел поступить на богословский факультет Парижского университета, Сорбонну. «К теологии предназначал меня

Мережковский Д. Кальвин filosoff.org
отец с раннего детства». Но мысли отца вдруг изменились. «Видя, что законоведение лучше всего обогащает людей, переменил мысли свои обо мне. Вот почему, повинаясь воле его, я вынужден был покинуть богословие, чтобы перейти к изучению права». [128] С этой целью Кальвин в 1528 году переехал из Парижа в Орлеан, где поступил на юридический факультет тамошнего университета.

В эти дни овладевает им неутолимая «похоть знания», *libido scientiae*, по слову св. Августина. Похотью этой начал распалиться еще в Париже, а здесь, в Орлеане, предался ей окончательно.

О, с каким упоительно-сладостным ужасом Евины зубы впились в золотистую, с таким же нежным румянцем, как у первенца ее возлюбленного, Каина, гладкую, точно живую, теплую от райского солнца, кожу яблока! Стоил ли этот единственный миг блаженства вечности мук всего бесчисленного, сокрытого в Евиных чреслах, потомства – всего осужденного человечества? Стоил ли и вечной муки Сына Божьего? Может быть, и стоил. «Смертью умрете», – погрозил Один. «Будете, как боги», – обещал Другой. Кто же солгал и кто сказал правду? Чтобы это узнать, Матерь жизни, Ева, и вкусила с неутолимою «похотью знания» от проклятого и благословенного плода жизни или смерти. С тем же упоительно-сладостным ужасом вкушал от него и Кальвин; так же хотел и он узнать, кто из Двух был прав, – кто грозил: «Смертью умрете», или кто обещал – «Будете, как боги»? Или правы были Оба: «Узнаете – умрете – и будете, как боги»?

Запершись в рабочей келье, целые дни и ночи напролет сидел он за книгами, убивал себя работой. [129] Силы духа его росли, а тело таяло, как воск на огне. Начал болеть, худеть, сохнуть; щеки ввалились; в изможденном лице большие глаза горели, как раскаленное добела железо, «адским» или «райским», но, во всяком случае, нездешним огнем.

Быстрые во всех науках успехи его были таковы, что, в отсутствие учителей, он заменял их на кафедре, и докторскую степень предложили ему без всякого диспута. [130] Восемнадцатилетний Кальвин – уже «человек ученейший во всей Европе», по отзывам современников.

В Орлеане подружился он с Никола Дюшешаном и Франсуа Даниелем. «Друг мой милый, ты мне дороже, чем жизнь», – пишет он Дюшешану. [131] Будущий дар Кальвина, гений дружбы, уже влечет к нему людей неодолимо. Все, кому холодно в мире, греются об этот внутренний, горящий в нем огонь. [132]

В то же время он так неумолимо обличает все пороки товарищей своих, что те шутят о нем: «Слишком хорошо умеет он склонять до винительного падежа!» Так они и прозвали его: «Жан Винительный Падеж, Jean l'Accusatif».

«Вот идет Аккузатив – точно с того света выходец!» – говорили о нем школяры, одни – со страхом, а другие – с презрением, когда выходил он из-под света лампы в темной келье на солнечный свет. [133]

В 1529 году переходит он из Орлеанского университета в Буржский (Bourges), где преподает греческий язык Мельхиор Вольмар (Volmar), германский гуманист, ревностный ученик Лютера. Начатое Робером Оливетаном продолжает в тайных беседах Вольмар. Может быть, у него Кальвин в первый раз увидел греческий подлинник Нового Завета, изданный Эразмом в 1516 году; у него же учится и еврейскому языку. [134] Можно сказать с уверенностью, что за пятнадцать веков никто из христиан не произносил имени Божия по-еврейски с таким потрясающим ветхозаветным чувством, как этот человек новой «Евангельской веры», Кальвин.

«Знаешь ли ты, что отец твой ошибся в твоём призвании? – сказал ему однажды Вольмар. – Не к законоведению ты призван, а к Теологии, царице наук. Предайся же ей!» [135]

Этому совету Кальвин и последовал.

5

26 мая 1531 года умер отец его, отлученный от Церкви, может быть, не столько за тайное сочувствие людям новой веры, сколько за то, что в денежно-церковных делах запутался, «проворовался», как злые языки о нем говорили. [136] Судя по тому, что Кальвин упоминает о смерти отца только

двумя словами мимоходом, духовная связь между ними если когда-нибудь и была, то уже давно порвалась. Кальвин в эти годы, 1531–1534, мечется между Парижем, Нойоном и Орлеаном, не находя себе нигде покоя, как тяжелобольной в постели. [137]

В 1532 году он поступает в школу Фортэ (Fortet) на горе Св. Женевьевы, против Монтегийской школы, и пишет первую книгу свою, ученое истолкование книги Сенеки, «О милосердии» (De clementia), где двадцатилетний школяр, такой же бесстрашный и неумолимый судья – обличитель христианнейшего короля Франции, как и всех школьных товарищей своих, сравнивает в посвящении книги Франциска Первого с Нероном. [138] Смутное чутье побуждает его уже в те дни искать в государственной власти точки опоры для своего церковного действия. В эти дни он живет двойною жизнью протестанта и католика вместе.

Все еще мнимый капеллан Нойонского собора и мнимый священник Понт-Эвейского прихода, он исправно получает с них бенефиции, «торгует Духом Святым», и в ереси так мало подозрителен, что отцы-каноники Нойонского Капитула хотят сделать его «официалом», судьей по церковным делам Нойонской епархии. [139] Кальвин должен будет сам себя отлучить от Церкви, а это большее и страшнее, чем быть отлученным другими, как Лютер.

«В папских суевериях погряз так, что никогда не вылез бы из этой трясины, если бы Господь внезапным обращением не покорил сердца моего и не вывел меня на верный путь», – вспоминает Кальвин. «Каждый раз, как я углублялся в себя или возносил душу мою к Тебе, Господь, такой несказанный ужас овладевал мною, что никаким покаянием и очищением я не мог от него избавиться. Чем пристальней заглядывал я в себя, тем больнее жало угрызений вонзалось в душу мою, и я не находил себе покоя ни в чем, кроме самообмана и самозабвения». [140] «Тайным Предопределением своим Бог повернул меня в другую сторону так, как всадник уздою поворачивает коня». [141] «Как при внезапном блеске молнии, я вдруг увидел, в какую бездну лжи я был погружен». [142]

Страсбургский реформатор, Мартин Буцер, пишет Кальвину в Париж, поручая ему одного французского протестанта-изгнанника, который «не может склонить головы своей под иго вольного рабства, как мы все это делаем». Здесь «мы все» значит «ты». [143]

7

Осенью 1532 года Кальвин поселяется у «богатого и богобоязненного» валлонского купца-суконщика, Этьена де Ла-Форжа (La Forge), в угловой горнице дома его под гербом Пеликана, на Сэн Мартеновой улице. [144] «Память де Ла-Форжа должна быть благословляема всеми верующими, как память святого Мученика Божия», – вспоминает о нем Кальвин через много лет в книге «Против Либертинцев». [145] Множество Евангелий на французском языке, с маленькими объяснительными книжками, печатает де Ла-Форж за свой счет и раздает их с милостыней бедным людям. В доме его собираются гонимые люди новой веры из Фландрии, Англии, Швейцарии, Италии, Германии – со всех концов Европы, и «в течение нескольких месяцев Кальвин узнает их всех». [146] В доме де Ла-Форжей происходят тайные ночные сходбища. Братья на них пробираются с опасностью для жизни. Перья на шляпах у многих сломаны мушкетными выстрелами встреченных по дороге городских стражников, а у иных и камзолы окровавлены. Слышатся иногда сквозь тихое пение псалмов близко, за стенами дома, глухие выстрелы. Знают все, что для каждого из них прямо из этого молитвенного сходбища – один шаг на костер или плаху. Молятся за сожженных на костре, обезглавленных на плахе, замученных в застенках и сами так же пострадать хотят. Читают, толкуют Св. Писание на родном французском языке, и кажется им, что книга эта только что написана и что Слово Божие не за пятнадцать веков для всех, а только что вчера для них одних сказано, потому что только ими услышано. Самые простые люди, неученые – кузнецы, сапожники, лоскутники, бывшие уличные девки и покаявшиеся разбойники – проповедуют «по наитию Духа Святого». «Возлюбленные! Огненного искушения, для испытания вашего посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете» (1 Петра, 4:12–13).

А Кальвин молчит – только слушает, и «похоть знания» угасает в нем, утоленная живыми водами веры.

Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек;

но вода, которую Я дам ему, делается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную (Иоанн, 4:13-14).
Только теперь понял он, что это значит.

Часто молитва или проповедь внезапно прерывается. Брат-привратник, стерегущий у дверей дома, внезапно вбегая в молельню, предупреждает, что стражники лейтенанта Морена (Morin) появились на улице; и тотчас же свечи гасятся, скамьи опрокидываются; все бегут потайными ходами или скрытыми в толще стен лестницами к другому, безопасному выходу на пустынную улицу, пряча в руках или за пазухой книжечку французского Евангелия, драгоценнейшее для них сокровище. [147]

Весь холодея и замирая от сладостного ужаса, Кальвин чувствует, что он – на волосок от смерти; что и от него с каждым днем все сильнее пахнет дымом костра. «Я, по моей природе, очень робок и боязлив». [148] Кажется, на одной из этих сходок он едва не был схвачен сыщиками лейтенанта Морена. [149]

Тайные сходки людей новой веры, «Гугенотов» – «Оборотней», или «Выходцев с того света», как назовут их скоро, происходят также и на клериковом Луге, в доме Висконти на Болотной улице, где многие дома соединяются потайными ходами, чтобы легче можно было бежать от стражников. Здесь собирается первый Синод Гугенотов.

Ночью, по глухим переулкам и задворкам, прячась в тиши, как тени, пробираются они и входят потайными дверями в погреба и подземелья-катакомбы, где течение времени как бы обращается вспять – снова наступает I-II век христианства, век Апостолов и Мучеников, и новый гонитель христиан, Апокалиптический Зверь, Нерон – христианнейший король Франции, Франциск Первый. Снова «те, которых весь мир недостойн, скитаются по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли» (Евреям, 11:38).

«Маран афа! Господь грядет!» – эта молитва у них у всех на устах, и в сердце – чувство вечного Присутствия – Пришествия Христа.

В Римской Церкви все и всё говорят только «Есть», а здесь впервые сказано «Было и будет».

Будете всеми гонимы за имя Мое. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное (Матфей, 5:10).

Вот когда и где, может быть, понял Кальвин, что значит «второе христианство» – не в Риме, а в мире. Первый религиозный опыт Кальвина связан с образами Мучеников, горящих в огне костров на Гревской площади. Звенья той железной цепи, которой он прикован к Римской Церкви, плавятся в этом огне.

Летом 1534 года, в Нойоне, Кальвин сложит с себя сан священника и откажется от церковных доходов – сам себя отлучит от Церкви – Матери или Мачехи – этого он сам еще, может быть, не знает в те дни. [150]

8

1 ноября 1533 года, в день Всех Святых, ректор Парижского университета, Николай Коп, давний друг Кальвина, произносит в церкви Матуринов (Mathurins) торжественную речь, сочиненную для него Кальвином. Это первый боевой клич Второго Христианства – вызов, брошенный людьми новой веры в лицо всей Франции – всего христианского человечества. [151]

Два французских монаха, слышавших речь, донесли на Копу лейтенанту Морену, изобретателю таких утонченных пыток, что при одном имени его дрожал весь Париж, потому что скорая смерть на костре казалась легкой сравнительно с медленной смертью в застенках Морена.

Коп вызван был на суд в Парламент. Но когда он шел туда, кто-то шепнул ему на ухо: «Если не хочешь быть в тюрьме сегодня, а завтра на костре, – беги!»

Скрывшись в толпе сопровождавших его школяров, он шмыгнул в боковую пустынную улочку, спрятался в доме друзей и в ту же ночь бежал в Швейцарию, в Базель. [152]

Сведав об участии Кальвина в этом деле, Морен кинулся к нему в школу Фортэ на горе Св. Женевьевы, чтобы его схватить. Но друзья успели его

предупредить. Стражники уже стучались в двери дома, когда Кальвин спустился из окна на скрученных жгутом простынях и бежал в предместье Сэн-Виктор, к знакомому виноградарю, должно быть, одному из братьев по Евангельской вере, переоделся в его рабочее платье и, закинув мешок на спину, положив кирку на плечо, благополучно вышел из ворот Парижа.[153]

Прячась под именем «Шарля д'Эспевиля», прожил он несколько месяцев в старом Ангулемском замке друга своего, Луи де Тиллье (Tillet), соборного каноника в городе Клэ (Claix). Здесь, в тишине огромной библиотеки в три-четыре тысячи рукописных и печатных книг, он начал писать главную книгу всей своей жизни, «Учение, или Установление христианской веры», «Christianae Religionis Institutio».[154]

Ранней весной 1534 года, все так же скрываясь под чужим именем, он пробрался в город Нерак (Nérac), где находилась тогда королева Маргарита Наваррская, сестра короля Франциска Первого, бесстрашная заступница всех людей новой веры. «Она собирала их, как добрая курочка собирает цыплят своих под крыльями», – говорит о ней летописец. «Тело женщины, сердце мужчины и лицо Ангела», – говорит гугенотский поэт, Маро.[155] Юная королева читает, как ученый богослов-гуманист, Ветхий Завет на европейском языке и трагедии Софокла – на греческом. Но слишком легко соединяет благочестие с любовными приключениями во вкусе «Гептамерона», сборника сочиненных ею довольно непристойных любовных сказочек. Утром служат в дворцовой часовне полупротестантскую обедню с причащением «под обоими видами», вечером спорят о «спасении верою, помимо дела Закона», а ночью, в благоухании миртовых кущ, под сладкозвучный плеск фонтанов, в лунном свете, голубеющем на белом мраморе скамей в дворцовом саду, затеваются любовные шашни между придворными кавалерами и дамами, осуществляющие вымыслы «Гептамерона».

«Все наше время мы проводили в шутовстве и скоморошестве», – вспоминает Маргарита об этих Ангулемских днях.[156] Кальвину после того, что испытал он в подземных тайниках-катакомбах Ла-Форжева дома, среди новых христиан-исповедников, шедших на костер, как на брачный пир, это смешение полусвятости с полукощунством, Евангелия с «Гептамероном», церковного ладана с придворным мускусом, должно было казаться отвратительным.

С горестным удивлением встретил он при Ангулемском дворе земляка своего, Жана Лефевра д'Этапля, столетнего старца, первого, задолго до Лютера, благовестника новой веры во Франции, бежавшего от костра так же, как и он, Кальвин. Плача от радости подобно Симеону Богоприимцу:

Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром; ибо видели очи мои спасение Твое (Лука, 2:29–30), – обнял его старый Лефевр. Радовался, потому что, по наитию Духа Святого, знал, что им, Лефевром, начатое дело Кальвин довершит – «будет некогда избранным орудием Божиим для установления Царства Небесного во Франции».[157]

Слишком умна была королева, чтобы не угадать презрительного чувства Кальвина к ее двору. Но у нее хватило доброты, чтобы отплатить ему добром за зло, выхлопотав прощение у короля. Это, впрочем, спасло его ненадолго. Тотчас же сделаны были новые на него доносы в суд Инквизиции, с такими тяжкими обвинениями в ереси, что сам король уже не мог бы избавить его от костра.[158] Чтобы спастись, надо ему было вечно бегать и прятаться от сыщиков. Заяц от гончих бежит; длинные уши плотно прижаты к спине; дергается жалкий хвостик от ужаса наступающих, тяжело за ним дышащих псов: так бегал и Кальвин от сыщиков. «Подлый, заячий страх – заячий хвост!» – думал он, может быть, с презрением к себе и с ужасом не временного, а вечного огня, вспоминая предсмертную исповедь Лефевра: «Как предстану я на суд Божий, проповедаю во всей чистоте Евангелие стольким людям, шедшим за него на смерть, между тем как я сам от смерти бегал всегда, бегу и сейчас, в такие годы, когда следовало бы мне не страшиться ее, а желать!»[159]

9

«Этот учит, по крайней мере, чему-то совсем новому!» – заметил о Кальвине один из слушателей, когда он проповедывал еще в католических церквях около Буржа.[160]

«Я был весьма удивлен, что все желавшие чистого учения приходили ко мне, хотя я и сам едва только начал учиться, – вспоминает он сам. – Будучи же,

по моей природе, несколько дик и стыдлив, я всегда любил уединение и спокойствие. Вот почему и тогда искал я какого-либо убежища, чтобы спрятаться в нем от людей; но всякое убежище становилось для меня открытою школою... И между тем как моей всегдашней целью была только личная жизнь в неизвестности, Бог кружил и водил меня по разным путям и распутьям, не давая мне успокоиться, пока, наконец, против воли моей, не вывел меня на свет, не пустил, как говорится, в игру». [161]

Первую Тайную Вечерю по обычаю Апостольских времен Кальвин совершил в пещере Св. Бенедикта (St. Benoît), близ города Пуатье (Poitiers). В эту пещеру над рекою клэн (Clain) братья входили сквозь узкую между скалами щель. Главная радость и главный ужас (радость для них сочеталась с ужасом), радость главная для них была в том, что все в этом Таинстве было так просто, буднично, бедно и голо; ни икон, ни свечей, ни ладана, ни торжественных гулов органа, ни сладкозвучного пения, ни золотых священнических риз, ни золотых церковных сосудов – ничего прошлого, бывшего в Римской Церкви – «Царстве Антихриста», откуда бежали они. Все знакомое, домашнее: вместо жертвенника – длинный, простой, некрашенный, соснового дерева стол, какой можно видеть в каждой харчевне; вместо чаши – мутного зеленого стекла граненый стакан с трещиной на ножке – едва, должно быть, не разбился в мешке брата, который нес его и, услышав в кустах шорох, побежал, думая, что за ним гонятся сыщики или диаволы; красное вино в бутылке, купленное в ближайшем сельском кабаке; ситного хлеба каравай, купленный в ближайшей лавочке. Все обыкновенное, такое же, как везде, всегда, – и вдруг совсем иное, необычайное, на земле невозможное, как бы с того света в этот перешедшее, – ужасное. Чувствовали все, и больше всех Кальвин, что никогда и нигде не было того, что будет здесь, сейчас.

Если бы своды пещеры на него внезапно обрушились, они раздавили бы его не большею тяжестью, чем бремя той ответственности, которая должна была пасть на него в этот миг, когда он произнесет эти для человека невозможные, невероятные слова:

Вот Тело Мое;
Вот Кровь Моя.

Руки у него дрожали так, что уронить боялся чашу с вином – Кровью, пальцы ослабели так, что едва мог преломить хлеб – Тело. Но чувствовал, что не может противиться той неодолимо влекущей его и толкающей Силе – тайне Предопределения, «Приговора Ужасного» (Decretum horribile), что принуждала его делать то, что он делал, священнодействуя или кощунствуя, этого он сам сейчас не знает и, может быть, никогда не узнает.

Взяв хлеб, благословил, преломил и подал им всем. Молча вкушали Хлеб; молча пили из чаши Вино.

Вдруг в темной глубине пещеры, куда едва доходил трепетный свет факелов, кто-то в белой одежде прошел; кто-то сказал:

Мир вам!

«Кто это сказал – я или Он?» – может быть, подумал не он один, Кальвин, но и все вместе с ним.

Сам Иисус стал посреди них и сказал: «Мир вам!» Тогда открылись у них глаза и они узнали Его. Но Он стал невидим для них. И они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда Он сам был среди нас» (Лука, 24:31–32). «Истинно так, истинно так! Он сам был среди нас!» – это почувствовал Кальвин с таким несказанно радостным ужасом, что, если бы, в эту минуту, надо ему было взойти на костер, – он взошел бы на него бесстрашно блаженно. Но минута пройдет, радость потухнет, и снова будет «заячий страх – заячий хвост».

Слух прошел между братьями, что сделан донос, может быть, одним из них, «Иудой Предателем», и что сыщики бродят около пещеры Св. Бенедикта. Кальвин бежал из Пуатье. Между Ангулемом, Орлеаном, Нойоном и Парижем снова бегают, мечется, прячется, спасаясь от сыщиков, как заяц от гончих, гонимый, бездомный и безымянный, то «благородный дворянин, Шарль д'Эспевиль», то «бродячий школяр, Луканий». Будет ли бегать всю жизнь, точно Богом проклятый Каин или Вечный Жид?

В ночь на 18 октября 1534 года появились в Париже, в Орлеане и в Амбуазе, где тогда находился король, прибитые к стенам домов гугенотские «Воззвания» (Placards) «против ужасных и невыносимых кощунств Римской Обедни». [162] Найдено было одно из них и в спальне короля, «в том серебряном блюде, куда он клал свой платок».

Тотчас началось по всей Франции лютое гонение на протестантов. В двести червонцев оценена была голова каждого из них. 29 января 1535 года совершилось великое «Очищение» Парижа от «Лютеровой ереси». Шествие духовенства, короля и королевы, с тремя сыновьями их, проходило по всему Парижу, и на пути шествия пылали костры. Яростная толпа готова была вырвать осужденных еретиков из рук палачей, чтобы их растерзать. 29 января 1535 года объявлен был королевский указ о «защите католической веры» и об «искоренении Лютеровой и всех остальных кишаших во Франции ересей». «Всякий, кто даст убежище еретику, будет сожжен на костре так же, как сам еретик», – гласил указ. «Если бы и кто-нибудь из членов нашей семьи заражен был ересью, я истребил бы его сам беспощадно!» – говорил король в великом гневе. [163]

Чтобы сжигать еретиков на медленном огне, изобретены были особые виселицы, в виде подъемных лебедок; к ним подвешивали жертву на цепях и то опускали в огонь, то из него подымали. [164]

Был ли Кальвин на Гревской площади, когда сожжен был друг его Этьен де Ла-Форж? [165] Если и не был, потому что «чувствительное» сердце его не вынесло бы такого ужасного зрелища, то, может быть, видел – и не однажды – во сне, как брат Этьен стоит в огне, и глаза их встречаются; но укора не было в глазах умирающего – был только тихий вопрос: «А почему же ты не с нами, брат?»

И, проснувшись, чувствовал он, что лицо его горит от такого стыда, как будто этот тихий вопрос ударял его, как хлыстом по лицу.

11

1 января 1535 года, после дела «Воззваний», Кальвин с другом своим, Луи дю Тиллье, едет через Лоррену и Эльзас сначала в Страсбург, а потом в Базель, где печатает весной 1536 года «Установление Христианства», эту, как верно кто-то сказал, «величайшую книгу XVI века». [166]

Кристаллоподобное зодчество в логике Кальвина соответствует такому же зодчеству в логике св. Фомы Аквинского. «Сумма Благочестия» (Summa pietatis – у Кальвина, а у св. Фомы – «Сумма Богословия», Summa Theologiae).

Три главных цели у этой книги Кальвина: первая – «омыть от клеветы святых Мучеников, чья смерть драгоценна в очах Божьих»; вторая – «возбудить сострадание в чужеземных государях, объяснив им истинный смысл того, что происходит во Франции, чтобы, заступившись за невинно гонимых, не дали они истребить их до конца»; и наконец, третья цель – «дать Сумму того, что нужно людям знать для спасения и чему Бог научил их в Слове Своем». [167]

«О христианской свободе, о церковной власти и о правлении государственным» – в этом заглавии последней книги «Установления» предсказано все будущее всемирно-историческое действие Кальвина – вся его «Теократия». [168]

12

Книга посвящена королю Франциску Первому. «Этим трудом, Государь, я хотел бы послужить Франции. Видя, что многие в ней жаждут и алчут Христа, но лишь немногие знают Его как следует; видя также ярость злых людей, растущую в твоём королевстве так, что для здравого учения все пути уже закрыты, я хотел бы, чтобы эта книга была исповеданием веры». Кальвин достиг, чего хотел: книга его, в самом деле, освещена кровавым заревом тех костров, на которых горят исповедники Второго Христианства.

«В книге этой изложено учение, о котором враги наши вопят, что должно истребить его с лица земли... Нет столь гнусной клеветы, которой не пытались бы они очернить его в глазах твоих, Государь: цель наша, будто бы, исторгнуть скипетр из рук всех государей... разрушить весь гражданский порядок, все законы упразднить, учить жечь собственность и опрокинуть все

вверх дном. Но, не довольствуясь и этой ложью, они измышляют о нас такие ужасы, что если бы это была правда, то каждого из нас следовало бы казнить смертью тысячу раз. И люди верят этой лжи. Должно ли удивляться, что нас преследует общая ненависть?.. Но если ты заглянешь в эту книгу, Государь, то увидишь, что учение, которое будто бы дает нашим врагам (католикам) власть над Церковью, есть на самом деле убийство человеческих душ... и гибель Церкви... Если же эти клеветники так окружили тебя, что оклеветанным нет уже доступа к тебе, чтобы оправдаться, и если эти фурии будут, как прежде, с твоего согласия, утолять ярость свою над нами тюрьмами, казнями, пытками, мечом и огнем, то мы, влекомые, как овцы, на заклятие, претерпим все, но не перестанем надеяться, что крепкая десница Господня некогда явится миру и мучимых избавит, и мучителям за них отомстит».

«Дело мое есть дело всех верующих и самого Христа... Наше в королевстве твоём, Государь, дело это поправлено так, что можно бы отчаяться в нём. А между тем долг твой – не отвращать ни слуха, ни сердца от защиты столь великого дела, как... исполнение Царства Божия, потому что истинный государь есть Божий слуга; кто же правит людьми, не думая о Боге, – тот не государь, а разбойник. Да утвердит же Царь царствующих престол твой на правде своей». [169]

Если Франциск это прочел (вероятно, не читал), то удивился, что какой-то дерзкий мальчишка, бездомный бродяга, несожженный еретик, смеет спрашивать его, христианнейшего короля Франции: кем он хочет быть – королем или разбойником? Не был Франциск ни глуп, ни зол, но пуст был и легок, с тем невозмутимым самодовольством, которое свойственно только пустым и легким французам. Царства около него рушились, народы возмущались, Церковь была поругана, а он только посвистывал:

Часто женщина меняется;
Глуп тот, кто ей вверяется.
(Souvent la femme varie;
Bien fol est qui s'y fie...)

В деле веры он был хуже язычника: так же, как многие «свободные мыслители» во Франции не только тех дней, предпочитал «обитель Телема» Царству Божию и Гаргантюа – Евангелию. А если жег еретиков, охраняя от них Церковь, то лишь потому, что видел в ней опору власти, а в ереси – бунт.

Кальвин посвятил Франциску две книги свои – первую, «О милосердии» (Сенека), и если не в вещественном, то в духовном порядке – последнюю, величайшую – «Установление христианской веры». Милости молит он у короля, почти валяется у него в ногах, а тот даже ногами не оттолкнет, как докучного пса, и не заметит, как пыли, прилипшей к ногам.

Вотще перед ним мечет Кальвин свой жемчуг. Если такому человеку посвящает он такую книгу, то видно по этому, как жадно он ищет в государственной власти точки опоры для своего церковного действия и как с последней надеждой или с последним отчаянием хватается за все, что кажется ему этой необходимой точкой опоры, чтобы сделаться, по вещему слову Лефевра, «избранным орудием для установления Царства Божия», может быть, не только во Франции, но и во всем христианском человечестве.

Точки этой он не нашел во Франции – не найдет ли в Италии? Так, может быть, подумал он, когда в Базеле, ранней весной 1536 года получил приглашение от герцогини Ренаты феррарской (Renee de Ferrare), дочери французского короля Людовика XII, двоюродной сестры Франциска Первого и королевы Маргариты Наваррской. Воспитанная при ее дворе, где приобщил ее Лефевр к новой евангельской вере, сделалась Рената еще более бесстрашной, чем Маргарита, заступницей всех гонимых людей этой веры. [170]

Только что услышала она от них о новом великом учителе, Кальвине, как пригласила его к себе в Феррару. [171]

13

Жалкая с юных дней игрушка в руках умных и глупых политиков, сначала невеста императора Карла V, потом английского короля Генриха VIII, Рената выдана была наконец за герцога феррарского, сына Лукреции Борджия, Эрколе д'Эсте, в чьих жилах недаром текла, змеиному яду подобная, кровь Борджия: он был предательски лжив, сладострастен и жесток. Мужем не любимая и сама его не любившая, томилась она в чужой земле тоской по родине, и братья по

Мережковский Д. Кальвин filosoff.org
вере, бежавшие из Франции, были для нее единственной отрадой в изгнании:
только в их кругу дышала она воздухом родной земли.

Если бы не обломок варварских веков – Салический закон, отменявший престолонаследие по женской линии, то не Франциск Первый, а она была бы на престоле Франции. Это помнила Рената всегда, но память об этом только углубляла в ней чувство унижения.

Под черной, как бы монашеской, дымкой головного убора, падавшей на спину ее длинными складками, кое-как прятала она свой горб, и лицом была некрасива, но в голубых и глубоких, как небо, глазах, в нежной и грустной улыбке и тихом и ласковом голосе, в царственном благородстве движений было то, что иногда лучше красоты и дает женщинам большую власть над людьми, – очарование. [172]

«Только что она увидела и услышала Кальвина, как поняла, кто он такой, и сделалась другом его на всю жизнь, почитая в нем всегда особое орудие воли Божьей», – вспоминает Бэза. [173] Эта повторявшаяся в жизни Кальвина так часто, внезапная, как молния, влюбленность, «святая дружба», *sancta amicitia*, очень для него показательна: в ней сказывается, как и во многом другом, «творчески положительным действием», по слову Гёте, двойное, «демоническое», «радийное» в существе Кальвина.

Чтобы не быть узанным в стане врагов, сановников Римской Церкви и членов св. Инквизиции, наполнивших дворец герцога Феррарского, Кальвин надел рясу католического священника, под именем Шарля д'Эспевилля, и, снова выбрив заросшую лысинку тонзуры, может быть, так же, как в детстве, почувствовал на голом темени жуткий холодок, как бы неземное веяние – дыхание Духа Нечистого. [174] Если бы люди узнали об этом обмане, то не только католики, но и протестанты могли бы усомниться, кто он такой – волк в овечьей шкуре, или овца – в волчьей. Гнусность этой лжи он сам, вероятно, чувствовал сильнее всех; если же все-таки шел на нее, то видно и по этому, как судорожно, жалко, беспомощно хватался, точно утопающий за соломинку, за всякую надежду или хотя бы только признак надежды найти все ту же необходимую точку опоры для своего рычага Архимедова – главной, всепоглощающей мысли и воли своей – сделать государственную власть, царство человеческое, орудием Царства Божия. Но после первой же беседы наедине с герцогиней Феррарской он, вероятно, понял, как смешно было надеяться найти что-либо подобное власти в этой королевской дочери, почти такой же бесправной и несчастной изгнаннице, как он сам; понял, вероятно, и то, что для посещения Феррары нельзя ему было выбрать времени хуже.

Герцог Феррарский, как добрый сын отечества, ненавидел всех чужеземцев, а особенно французов, находивших убежище у постылой жены его; а как добрый католик, ненавидел всех протестантов, особенно тех, кого та же постылая жена приютила. Давним желанием его было очистить свой дом от всей этой чужеземной и еретической нечисти. Вот почему он рад был тайной статье договора, заключенного с императором и Папой, об удалении из Феррары всех французских изгнанников и выдаче на суд св. Инквизиции тех из них, кто будет заподозрен в «Лютеровой ереси». [175]

Месяца через два по приезде Кальвина начались доносы и судебные следствия. Первым был схвачен молоденький мальчик, церковный певчий Жеганне (Jehannet), протестант, бежавший из Франции. Мальчик на допросе под пыткой назвал имена многих ближайших друзей герцогини, таких же, как он, протестантских беглецов. А через несколько дней схвачен был старый священник Турнейского прихода, Бушфор (Bouchefort) – тоже протестант; сделан был донос и на Кальвина. [176]

Плохо бы пришлось ему, если бы герцогиня не успела его предупредить вовремя и если бы не оказалась рядом с комнатой его потайная лестница. Может быть, боясь, чтобы дворец ее не сделался для него западней, выбрала она для него нарочно эту комнату. Но все же, спускаясь по лестнице, уже не в рясе католического священника, «Шарля д'Эспевилля», а в дорожном платье бродячего школяра, «Лукания», кутаясь в плащ и низко надвинув шляпу на лицо, он чувствовал себя опять на волоске от смерти, как тогда, в школе форте, когда спускался из окна на скрученных жгутом простынях, и потом, когда бежал из Парижа, после дела «Воззваний». Зайцем опять прошмыгнул между двумя допросами, а может быть, и между двумя кострами, тех двух несчастных – молоденького певчего и старенького священника. Снова «заячий страх – заячий хвост». Лучше бы сразу конец. Но знал, что этой терзающей

муке страха не будет конца. Вспомнил, может быть, ту подъемную лебедку, изобретенную, чтобы жечь еретиков на медленном огне: к точно такой же лебедке подвешен был и он на цепи; то в огонь опустят, то из огня подымут – жарят, как зайца на вертеле.

14

В эти дни появился королевский указ, позволявший всем протестантам, бежавшим из Франции, возвратиться в нее безнаказанно на шестимесячный срок, с тем чтобы, покайся и отречься от ереси, могли они вернуться под лоно Церкви; если же этого не сделают, то будут казнены беспощадно. [177]

С Кальвином, когда он узнал об этом указе, произошло то, что много раз уже происходило в жизни его и еще будет происходить: вдруг он почувствовал – понял (чувство и понимание здесь было одно и то же), с такую же несомненностью (главное для него, страшное и блаженное вместе, было в этой несомненности), с какой понимали и чувствовали только три самых близких ему человека – Павел, Августин и Лютер, – понял вдруг – почувствовал: нет случая – есть Промысел. Чувство было такое, как если бы кто-то, очень добрый и сильный, взяв его в темноте за руку, вел, как испуганное маленькое дитя. Этим королевским указом дано ему было самое нужное для него сейчас – возможность вернуться на родину, чтобы спокойно, разумно и неотменимо решить, что ему делать: остаться ли на родине и погибнуть вместе с братьями, хотя бы повиснув над огнем на той страшной лебедке, – только бы не снилось ему, как брат Этьен де Ла-Форж, стоя в огне костра, молча смотрит ему прямо в глаза, с таким вопросом в глазах: «А почему же ты не с нами, брат?» – или бежать, чтобы с последней надеждой или последним отчаянием искать в чужой земле того, чего не нашел он в родной, – точки опоры в государственной власти для своего церковного действия. Чувствовал он, как трудно, почти невозможно это решить, но чувствовал также, что взявший его в темноте за руку, сильный и добрый, уже не выпустит руки его, пока не выведет на верный путь.

2 июня 1536 года Кальвин был в Париже, где устроил дела по завещанному от отца скудному наследству, а из Парижа заехал в Нойон. [178] Снова услышал родные колокола; снова увидел родные холмы и поля, где вековая тишина, –

Лишь ветер шелестит порою
В вершинах придорожных ив,
Да изгибаются дугою,
Целуясь с матерью-землею,
Колосья бесконечных нив.

И в этой тишине он вдруг почувствовал, что не он сам решит, что ему делать, а за него – Тот, Кто ведет его в темноте за руку.

«Я твердо решил, покинув навсегда Францию, переселиться в Германию (Швейцарию), чтобы там успокоиться в каком-нибудь неизвестном углу», – вспомнит он через много лет. [179]

Вместе с младшим братом, Антуаном, сестрой Марией и другом своим, нойонским судьей, сеньором де Норманди, в первых числах июня Кальвин двинулся в путь. [180]

«Слез мне стоит каждый шаг, приближающий меня к чужбине. Но что же делать? Если во Франции истина жить не может, то и я не могу. Ее судьба да будет моею». [181]

Ехал через Страсбург в Базель, но так как в эти дни император вел войну с французским королем и все пути через Лотарингию были заняты королевскими войсками, то вынужден был вернуться далеко на юг, чтобы пробраться в Базель обходным путем через Савойю и Женеву. [182]

«Я решил как можно скорее миновать Женеву, проведя в ней не больше одной ночи, потому что в городе этом царствовал тогда беспорядок и междоусобие», – вспоминает Кальвин. [183] Но недаром, по слову Бэзы, «сам Бог привел его в Женеву». [184]

15

Давний друг Кальвина, ангулемский каноник, Луи дю Тиллье, тоже протестант, бежавший из Франции, случайно узнав, что Кальвин находится проездом в

Женева, на постоялом дворе у Корнавенских ворот, сообщил об этом другому французскому изгнаннику и общему другу их, Невшательскому проповеднику, мэтру Гильому Фарелю. [185] Тот кинулся к нему на постоялый двор и, вломившись в комнату его, несмотря на поздний час ночи, когда, уставши с дороги, он думал только об одном – как бы поскорее лечь спать, – бросился к нему на шею.

– Вас-то мне и надо, мэтр Жан! Надолго ли в Женеву?

– Только переночую и завтра, на рассвете, дальше в путь...

– Завтра? Ну нет, мы вас отсюда так скоро не выпустим. Сам Бог послал вас в Женеву – дела вам тут будет по горло. Дальше никуда не поедете. Это не я вам говорю, а Тот, Кто избрал вас на дело Свое и к нам сюда привел!

– Нет, мэтр Гильом, вы во мне ошибаетесь: дело мое сейчас не на людях, а вдали от людей. Прежде чем других учить, я должен сам научиться и, когда научусь, хочу послужить не только здешней Церкви, но и всем остальным...

– Так не хотите остаться?

– Нет, не хочу...

– Савл! Савл! трудно тебе идти против рожна!

– Именем Божиим умоляю вас, мэтр Гильом, дайте мне послужить Богу, как я могу!

Стукнул Фарель кулаком по столу и, вдруг вскочив, поднял руки в широких рукавах священнической рясы, и откинутая свечой на белую стену черная тень от него взмахнула крыльями, как исполненная летучая мышь; потом, наклонившись к нему, жилистую, огромную, красную, с рыжими волосами и веснушками, лапу свою положил на женственно-тонкую, с тонкими, длинными пальцами, бледную руку Кальвина, такую же прекрасную, как у матери его, красавицы, Жанны Лефран. Стоило только сравнить эти две руки, чтобы понять, как противоположны были эти два человека и что сблизиться они могли только по закону «сходящихся крайностей»: тонкость и грубость, сдержанность и безудержность, тишина и буря, создание и разрушение – вот Кальвин и Фарель.

«Именем Бога Всемогущего говорю тебе, – закричал он громовым голосом, – если ты здесь не останешься, то Бог проклянет тебя за то, что ты о себе больше думаешь, чем о Нем!»

«Эти слова его так ужаснули меня, как будто сам Бог с неба наложил на меня сильную руку свою, и я отказался от начатого путешествия, но все же, зная робость мою и застенчивость, не захотел принять на себя какую-либо определенную должность в тамошней Церкви», – вспоминает Кальвин. [186] Но, кажется, о самом главном для него в этой беседе он все же не говорит: «Я не люблю о себе говорить»; «Я молчу, не открываю уст моих, потому что Ты, Боже, соделал это». Главное здесь для него, может быть, то, что из слов мэтра Гильома, когда тот сообщает ему о церковных и государственных делах в Женеве, он вдруг понимает или хотя бы только смутно чувствует, что не найденную во французской монархии точку опоры для своего рычага Архимедова – человеческое орудие для установления Царства Божия – он, может быть, найдет в Женевской республике; что власть народа – всех – может быть, даст ему то, чего не дала власть государя – одного; что Народовластие, Демократия, может быть, сделается началом Боговластия, Теократии. Если так, то именно это чувство, овладевшее им в той роковой беседе с Фарелем, выразит он через много лет, когда Архимедов рычаг его, уже найдя точку опоры, начнет подымать и перевертывать мир: «Если бы я думал только о себе и о моей собственной выгоде, то я бежал бы отсюда (из Женевы); но когда я думаю о том, что значит этот уголок земли для распространения Царства Божия по всей земле, то я не могу не думать и о том, как бы мне его сохранить». [187]

Sursum corda! «Горе имеем сердца!» Горнее сердце Европы – всего христианского Запада – здесь, в Женеве. «Да будет Царство Божие и на земле, как на небе», – говорят людям соединяющие небо с землей снеговые вершины здешних гор. Вот что, может быть, Кальвин почувствовал в тот августовский вечер, в бедной комнатке постоялого двора у Корнавенских ворот Женевы, когда послышался ему в заклятиях Фареля «Приговор ужасный» или радостный и

когда он вдруг почувствовал, что сам Бог наложил на него «сильную руку свою». Бог или диавол – в этом нет вопроса для Кальвина, но, может быть, есть для того, что увидел в нем одно из величайших явлений тех сумеречно-двойственных, разрушительно-творческих, «демонических», «радийных сил», в которых «диавол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей».

16

Мэтр Гильом Фарель был рыжий, веснушчатый, косолапый, уродливый гном. Только что начинал он говорить даже наедине с человеком – кричал, как перед толпой на площади; голос у него был, как из бочки; рыжая, козлиная борода тряслась; жилы на шее вздувались; брызгала слюна из толстых, отверженных, синеватых губ, и зрачки, как у хищного зверя, жутко отливали красноватым огнем.[188] Только что попадал в родную стихию бунта, как уже ничего не боялся и шел напролом. Тщетно враги пытались его отравить, утопить, застрелить.[189] «У-у, рыжий черт! В огне не горит, в воде не тонет – живуч, гадина!» – говорили они почти с суеверным ужасом.

Кальвин сначала не выступает вперед, а «робко, застенчиво» прячется в тени Фареля. Это видно уже по тому, что в течение многих лет протестанты в Женеве будут называться по имени не мэтра Жана Кальвина, а мэтра Гильома Фареля – «Гиллермены», *Guillermains*.[190]

Кальвин сначала соглашается принять лишь скромную должность «чтеца» в соборе Св. Петра, где каждый день, в послеобеденные часы, толкует Послание ап. Павла перед маленькой кучкой французских изгнанников и, ничего за то не получая, живет в крайней бедности.[191] «Мэтр Гильом Фарель, доложив Совету о том, почему необходимы чтения, начатые в соборе Св. Петра этим французом, *ille Callus*, ходатайствует об его содержании», – сказано в постановлении Городского Совета от 5 сентября 1536 года. Но только месяцев через шесть назначают ему, вместо постоянного жалования, случайный дар – пять женеvских золотых, так называемых «солнечных» флоринов.[192] Вскоре соглашается он принять, кроме должности «чтеца», и должность «проповедника».

«Когда я в первый раз прибыл в Женеву, там не было почти ничего, кроме проповеди... и все было в смятении», – вспоминает Кальвин.[193] Он начинает строить Церковь на голом месте.

Первый камень будущего «Града Божия» в Женеве – «Катехизис» Кальвина, «Научение и исповедание веры», «*Instruction et Confession de Foi*» (1537).[194] Эпиграф к нему – стих из Первого Послания ап. Павла:

Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение (Павла, 2:2).

«Веруем, что все избранные (предопределенные) соединены в одной Церкви... в одном народе Божьем, чей Царь – сам Христос... и что Церковь эта есть единая Католическая Вселенская, потому что не может быть двух Церквей. Избранники Божьи соединены в ней друг с другом и с Главой своим, Христом, так, что возрастают, как члены одного тела, в одной и той же вере, надежде и любви».[195]

«Я хочу послужить не только здешней (Женевской) Церкви, но и остальным», – говорит Кальвин Фарелю в той ночной беседе на постоялом дворе у Корнавенских ворот. «Всем Церквам послужить» – это значит: «Послужить Единой Церкви Вселенской». Кальвин, в противоположность Лютеру, утверждает здесь, в самом начале дела своего, и будет утверждать до конца видимую Вселенскую Церковь, как Царство Божие на земле – Теократию.

16 января 1537 года Кальвин и Фарель входят в Городской Совет Женевы с ходатайством: «Так как многие обитатели этого города вовсе не принадлежат к истинной Евангельской вере, то следует узнать, кто хочет к ней принадлежать и кто не хочет... Вот почему мы просим постановить, дабы все граждане исповедали веру свою... Только это и будет действительным началом Церкви». «Мы, люди, не знаем, кто избран и кто не избран Богом; это знает только Он один, а потому мы должны считать принадлежащими к Церкви всех, кто исповедует вместе с нами веру в того же Бога и того же Христа, в которых и мы веруем».[196]

Кто новому Символу веры не присягнет, будет изгнан из города, потому что, вопреки отделению Церкви от государства в умозрении Кальвина, в действии

Мережковский Д. Кальвин filosoff.org
Церковь, «Град Божий», и государство, «Град человеческий», для него одно и то же; быть или не быть в Церкви – значит быть или не быть в государстве.[197] Маленькими кучками в десять человек гонят народ на присягу «десятские», dizenniers, или городские стражники, врываясь в дома, тащат насильно всех живущих в доме присягать.[198]

Первый камень будущего Града Божьего – новый Символ веры, а второй – «дисциплина». Это древнелатинское римское слово у Лойолы и Кальвина недаром общее: в Церкви тот же военный, насильственный порядок, как в государстве. Кальвин предлагает на одобрение Совета «артикулы» церковного правления – дисциплины.[199] «левой-правой, левой-правой», как бы римским шагом, по-военному «артикулу», люди войдут – куда? в Царство Божие или совсем в другое место – в этом, конечно, весь вопрос.

«Сила Церкви – в дисциплине, а сила дисциплины – в отлучении от Церкви». «Братскому увещанию» подвергается сначала виновный; если же продолжает упорствовать, то предается гражданским властям для наказания. «Вам (Совету) должно решать, терпеть ли такое издевательство и презрение к Богу или казнить».[200] «Братское увещание» – в самом начале, а в самом конце – тюрьма, изгнание, плаха или костер. Только что от самого Кальвина пахло «паленым», и вот уже грозит братьям огнем костра.

Буйствующий народ – помесь тигра с обезьяной – заманивает в клетку, но он в нее не идет; будет загнан туда только раскаленным железом.

17

Такое множество граждан отказывалось от дачи присяги новому Символу веры, что, если бы их всех изгнать, город опустел бы и пришел бы конец Женевской республике.[201] Сначала в тайных игорных притонах и питейных домах, а потом на площадях и на улицах слышались мятежные речи о «невыносимом иге чужеземцев», о том, что беглый, нищий, никому не известный «француз», ille Gallus, сам изгнанник, изгоняет граждан из их же собственного города.

«Некогда звонили в колокола на церквях, а теперь один ворон на них каркает!»

«А внутри церквей, хуже ворона, черный француз, черный диавол каркает!»[202]

Слышатся также насмешливые песенки:

Рыжий диавол,
Черный бес!
Мэтр Гильом,
Мэтр иеган!

Ночью по главным улицам города проходит шествие ряженных, с непристойными песнями, плясками и гнусным издевательством уже не над католической обедней, а над протестантской Евхаристией.[203]

На голову бедного мэтра Гильома, когда он в сумерки шел однажды по улице, кто-то из окна нечаянно или нарочно, к великой радости не только уличных мальчишек, вылил ушат с помоями, и зная, что многие, может быть, не злые и не глупые люди жалели, что ушат не был вылит на головы обоим проповедникам, мэтра Гильома и мэтра Иоганна, – Кальвин боится выйти на улицу.

«Мы умеем читать Евангелие, и этого с нас довольно, и наши дела никого не касаются!» – говорил один, и другие: «Мы не хотим, чтобы нас принуждали; мы хотим жить на свободе!» «Мы – цари в нашем городе, мы – свободные люди!»[204]

Будущее имя злейших врагов Кальвина – либертинцы, что значит «Свободные люди». Первые тайные сходки их собираются в лавке богатого купца-суконщика, Франсуа Фавра (Favre), давшего клятву освободить город от «французского нашествия». Шляпы свои украшают они зеленым левкоем и говорят, что на французских головах зеленый цвет может сделаться красным, кровавым.[205]

В начале 1538 года происходит всенародное, по большинству голосов, избрание новых Синдиков и трех городских Советов, Большого, Среднего и Малого. Все избранные – злейшие враги Фареля и Кальвина. Оба они предчувствуют, что будет борьба на жизнь и смерть.[206]

Новые Советы требуют, чтобы таинство Евхаристии совершалось по бернскому обычаю, на пресном хлебе вместо квасного (почти то же, что «облатки» в католической Церкви). Тотчас же враги Фареля и Кальвина становятся на сторону бернского обычая и делают из него вопрос церковно-государственной практики – орудие народного восстания и освобождения от чужеземного ига. Новые Советы постановляют, чтобы таинство Евхаристии совершилось в ближайшее Пасхальное Воскресенье по бернскому обычаю, на опресноках. Главный пристав Советов объявляет об этом Фарелю и Кальвину. [207]

Здесь, по поводу незначительного внешнего обряда, ставится глубочайший и все решающий для Кальвина вопрос: как должна относиться в Теократии государственная власть к церковной; что чему должно подчиняться – Церкви государству или государству Церкви? [208]

11 марта 1538 года Большой Совет постановляет: «Вмешиваться в дела государственные мы запрещаем всем проповедникам – в особенности же Фарелю и Кальвину». [209] «Так как вы не хотите смиренно сидеть, то вы больше не будете присутствовать ни в Большом Совете, ни в Малом». [210]

«Есть очевидное различие между правлением духовным и городским. Сам Христос их различает. Но если государи похищают власть у Бога, то верующим слушаться их не должно. Риму ли подчиняться или Берну, не все ли равно?» – отвечает Кальвин на требование Совета подчиниться ему в деле Таинства по бернскому обычаю. [211]

После отказа Фареля и Кальвина подчиниться Совету он, в Страстную Субботу, постановляет запретить им не только совершение Таинства, но и проповедь. «Желаете ли вы совершить Евхаристию завтра, в день Пасхи, по бернскому обычаю?» – спрашивает их Великий Глашатай Советов, и когда они отказываются, то объявляет: «Я вам запрещаю, от лица Совета, вступать на церковную кафедру».

«Если бы нас убили на месте, мы не уступили бы ни пяди из данной нам Богом власти над Церковью!» – отвечает Кальвин. [212]

Всю эту ночь он глаз не может сомкнуть. В двери дома его стучат кулаками, и брошенные камни ударяют в оконные ставни. Слышатся крики:

«В Рону, в Рону изменника!»

И аркебузная пальба трещит под самыми окнами. Кальвин бледнеет и болезненно вздрагивает от каждого выстрела; насчитал их до шестидесяти. «Можно себе представить, как это напугало такого робкого школяра, каким, признаюсь, я был всегда», – вспомнит он через много лет. [213]

В бунте Фарель чувствует себя как рыба в воде, а Кальвин как рыба на воздухе; бунт ему ненавистен и отвратителен.

18

Утром, в Светлое Христово Воскресенье, 21 апреля, Кальвин, ни жив ни мертв, идет в собор Св. Петра.

«Каждый раз, как совершал я таинство Евхаристии, жгло меня угрызение, потому что вера многих казалась мне более чем сомнительной, а между тем все без разбора теснились к Чаше, но не столько в Таинстве Жизни участвовали, сколько гнев Божий глотали». [214] Видно по этому признанию Кальвина, что он испытывал в тот день в соборе Св. Петра и почему забыл весь свой страх, только что вступил на кафедру. Чувствовал такой ужас, как если бы нужно было вложить в еще не простывшие от гнусных поцелуев губы уличной девки только что гвоздями прибитое Тело и влить только что пролившуюся Кровь.

Что перед этим ужасом сверкающие из ножен клинки и прямо на него нацеленные дула аркебуз?

«Богом свидетельствуюсь перед всеми вами, что вовсе не из-за спора о хлебе квасном или пресном я не могу совершить Таинства, а из-за ваших раздоров, восстаний и богохульств», – начал было говорить Кальвин, на яростные вопли толпы: «Бей! бей! убивай!» – прерывают его почти на каждом слове.

Многие пришли в церковь с оружием. Выхваченные вдруг из ножен шпаги и кинжалы блестят.

«Нет, пьяницам, блудникам, убийцам, Тела и Крови Господней я не отдам на поругание!» – воскликнул он таким потрясающим голосом, что вдруг наступила тишина, как будто все на одно мгновение почувствовали такой же нездешний ужас, как он. Но мгновение прошло, и снова послышались яростные вопли: тысячи искаженных бешенством лиц обратились к нему, и прямо в глаза его вперились тысячи горящих ненавистью глаз. [215]

Маленькая кучка французских изгнанников, последних верных друзей Кальвина, окружив его, заслонила руками своими. Но каждую минуту все могло кончиться кровавым побоищем. «Чудом только кровь в тот день не пролилась», – вспоминает очевидец. [216] Та же кучка обступает Кальвина, когда он сходит с кафедры, и провожает его домой. Но, может быть, спасла его не эта бессильная кучка, а присутствие в нем той могущественной и непонятной, как бы сверхъестественной, силы, которая кажется друзьям его и недругам «колдовской», «магической».

Так, в Светлое Христово Воскресение, отлучен был от Церкви весь женеvский народ волею двух французских изгнанников.

В тот же день Совет Двухсот постановляет низложить обоих проповедников «за презрение к властям», оставив их на должности, пока не найдутся для них заместители. Но на следующий день общее народное собрание постановляет огромным большинством голосов приговор об их вечном изгнании: «В течение трех дней должны они покинуть город». [217]

«Да будет так!» – воскликнул Кальвин, услышав приговор. «Если бы мы людям служили, изгнание было бы для нас плохая награда. Но мы воздаем каждому по делам его!» [218]

«Как ни тяжело было возложенное на меня Господом бремя, я никогда не думал сбрасывать его и не смел сойти с того места, на которое Господь поставил меня. Но если бы я открыл вам все, что выстрадал за этот год, вы бы мне не поверили. Только одно скажу: не было такого дня, когда бы я десять раз не хотел умереть», – пишет он в эти дни. [219] «Когда меня низложили с должности проповедника, я не был достаточно великодушен, чтобы не радоваться возвращенной мне свободе. Наконец-то я мог жить спокойно, предавшись моему призванию», – вспоминает он через много лет о тех же днях. [220] Но, кажется, он и здесь опять забывает или умалчивает о главном – о заглушающей все муки его упоительной радости того единственного действия, которым могла быть достигнута великая цель жизни его – установление Царства Божьего на земле, как на небе, – Теократия. Делает веселое лицо при скверной игре, а где-то, в самой глубине сердца его, шевелится вопрос: «Где же Промысел Божий? Или только для того положил на меня Бог сильную руку свою, чтобы наказать? За что же? Не шел ли я покорно туда, куда вела меня эта рука?» Лучше было бы ему умереть в руках Божьих, нежели чувствовать отвратительно холодное прикосновение Случая к душе, подобное прикосновению ползучей гадины к телу.

19

После долгих скитаний по разным городам Швейцарии, в тщетной и унижительной надежде, что приговор изгнания будет отменен, Кальвин в 1538 году решает переселиться окончательно в Страсбург.

В первые дни Страсбурга он чувствует, вероятно, то же, что мог бы чувствовать стебель цветка, насильно пригнутый к земле, почти сломанный, и вдруг отпущенный и снова выпрямленный к небу. О, какое блаженство, какая свобода – идти по улице, не бояться, что первый встречный негодяй может плюнуть ему в лицо, или ударить его ножом; ночью спать, не боясь, что аркебузная пальба затрещит под самыми окнами и послышатся крики беснующейся черни: «В Рону, в Рону изменника!»

«Больше всего я боюсь вернуться под иго, от которого я только что освободился, – пишет Кальвин из Страсбурга. – Прежде я был связан Божьим призванием, а теперь мне страшно искушать Бога, возложив на себя такое бремя, которого я не мог бы вынести, как это узнал я по опыту». [221] «Освободившись от моего призвания в Женеве, я хотел одного – жить в покое, не принимая на себя никакой должности, пока Мартин Буцер не приступил ко

Мережковский Д. Кальвин filosoff.org
мне, с такими же угрозами и заклятьями, как некогда Фарель в Женеве.. и не утратил меня так, что я согласился снова принять должность проповедника». [222]

Кальвин называет Буцера «Страсбургским епископом». «Буцер опаснее Лютера», – говорят католики. [223] Он для них опаснее тем, что сильнее чувствует необходимость объединения всех протестантских Церквей в единую Вселенскую Церковь. Чувство этой необходимости он внушит и Кальвину или усилит его и доведет до полного сознания все, что в нем пока еще смутно и полусознательно.

В то же время Буцер умеряет и утишает Кальвина; сглаживает слишком острые углы его; лечит раны, нанесенные ему буйством Фареля. «Надо иногда позволять людям делать и глупости», – этой житейской мудрости учит он его, и если ученик слишком скоро забыл урок, то не по вине учителя. [224]

«Если во мне есть что-нибудь дурное, ты знаешь, что я во власти твоей. Учи меня, наказывая, делай со мною все, что должен делать отец с сыном», – говорит Кальвин Буцера, и тот отвечает ему, как отец – сыну: «Ты – мое сердце, ты – моя душа». [225] Видно по этому, что «нежное сердце» Кальвина – не пустое слово и, уже во всяком случае, не лицемерие.

Зная по горькому женевскому опыту, что значит быть бесправным изгнанником *ille Gallus*, человеком вне закона, Кальвин хочет быть гражданином в новом отечестве своем и, так как по Страсбургским законам все граждане должны принадлежать к ремесленным цехам, 30 июля 1539 года записывается в цех портных и вносит за прием в него 20 золотых флоринов. Это для портного небольшие деньги, а для бедного школяра – огромные. «Я продал все мои книги и остался без гроша», – жалуется он. [226] В первые дни живет он на хлебах у Буцера. С мая 1539 года, получая жалование по четыре флорина в месяц за должность проповедника, бьется, как рыба о лед, и, чтобы свести концы с концами, сдает комнаты жильцам – большей частью, французским протестантам-изгнанникам, таким же бедным, как он сам. [227]

В маленькой церковке Св. Николы-на-Водах Кальвин основывает первую французскую общину в Страсбурге и обращает в евангельскую веру анабаптистов. «Из всей округи на десять миль приносили ко мне анабаптистских младенцев, чтобы я их крестил, и я написал молитвы для крещения с такой поспешностью, что вышли они грубоватыми; но сохраните их все же такими, как они есть», – завещает он, умирая. [228]

В 1539 году печатает второе, увеличенное издание «Установление христианской веры» и вторую литургию по новому Евангельскому чину. [229]

В Страсбурге чувствует он первые приступы будущих болезней. Кажется, семена их посеяны еще в Монтегийской школе, где кормили детей иногда по целым неделям только сухими корками хлеба, тухлыми яйцами да несвежей рыбой. [230] Начатые в школе, продолжал бессонные ночи над книгами в Орлеанском и Буржском университете, холод и голод на больших дорогах в те годы, когда он бегал от сыщиков Св. Инквизиции, и, наконец, последний страшный год «пытки в женевском застенке». Все это подтачивало его здоровье так, что уже к тридцати годам подстерегает его целый сонм недугов. Как хитрые разбойники, сначала тихонько стучатся в двери дома, под видом робких нищих, чтобы обмануть хозяина, а когда он открывает им дверь, врываются в дом, грабят его и жгут, – так потихоньку входят болезни в тело Кальвина. Начинаются мучительные головные боли, расстройство желудка, частые лихорадки, а главное – вечная тревога, беспричинный физический страх, как если бы над головой его висела на одном волоске огромная каменная глыба: упадет – раздавит. Этому страху физическому, может быть, соответствует метафизический – «Приговора ужасного», *decretum horribile*.

Но, несмотря на болезни, три страсбургских года – самое счастливое и плодотворное время в жизни Кальвина. Сначала здесь, в Страсбурге, а потом во Франкфурте, Гагенау, Вормсе и Ратисбонне, на церковных беседах-коллоквиях протестантов с католиками, кругозор его расширяется так, что он становится из французского школяра и женевского проповедника всемирным реформатором. [231]

20

Кальвин вовсе не страдал от безбрачия но все же Буцер советовал ему

Мережковский Д. Кальвин filosoff.org
«исполнить закон» – жениться.

«Помни, что именно я желал бы найти в подруге моей, – пишет Кальвин Фарелю в 1539 году. – Я не принадлежу к числу тех влюбленных безумцев, которые, пленившись красотой женщины, готовы поклоняться и всем ее порокам. Нет, единственная для меня красота в женщине – целомудрие, стыдливость, кротость и заботливость о муже». [232]

Кальвин не столько женился сам, сколько женят его друзья, а он соглашается на это. В письмах говорит он о предстоящей женитьбе своей только мимоходом и как будто о чужом деле. [233]

Две попытки женить его оказались неудачными. Одна из двух невест была слишком знатна, богата и избалованна; к тому же немка, не умела говорить по-французски, а учиться не хотела. Другая, хотя и была беднее, скромнее, но в последнюю минуту, когда все уже готово было к венцу, такие недобрые слухи о ней дошли до него, что он рад был, что «Бог избавил его от нее». Наконец, Буцер сосватал его на вдове только что обращенного Кальвином в евангельскую веру и вскоре умершего анабаптиста, Яна Штордера (Storder), Иделетте де Бюре (Виге), бедной, кроткой и благочестивой – такой именно подруге, какой он желал для себя, и 10 августа 1540 года Кальвин женился на ней. [234]

Вскоре после венца оба новобрачные заболевают. «Кажется, Господь для того, чтобы умерить счастье нашего медового месяца, послал нам обоим болезнь», – вспоминает Кальвин. Выздороветь окончательно Иделетте никогда не было суждено. «Жена моя, по обыкновению, больна». «Медленная болезнь подтачивает ее, и я боюсь думать, чем это кончится». «Кажется иногда, что ей становится лучше, а потом опять хуже». «От долгой болезни она жестоко страдает». [235]

Только что ей становится полегче, ухаживает она за тяжелобольными и нянчится с маленькими детьми, которых приносят обращенные Кальвином в евангельскую веру анабаптисты, чтобы он их крестил. [236]

Кажется иногда, что Кальвин и Иделетта – не столько муж и жена, сколько брат и сестра, и что в их любви есть нечто противоестественное, подобное кровосмешению.

От этого брака двух больных рождаются и дети больные. Четверо за шесть лет родилось и умерло. В этом враги его, католики, видят «суд Божий над еретиком». «Пусть они бесчестят меня, – отвечает Кальвин. – Есть у меня десятки тысяч детей духовных по всему христианскому миру». [237]

Видно по этому ответу, что Кальвин – такой же монах и «умственник», «интеллигент» по-нашему, как св. Августин, и что он не понимает, что никакое множество «детей духовных» не может отцу заменить одного сына по плоти. Но все же девять лет проживет с Иделеттой душа в душу, и она будет ему до конца дней своих Ангелом Хранителем. «Добрая жена драгоценнее жемчуга» (Притчи, 31:10) – это слово Писания исполняется на Кальвине. «Лучшею подругою жизни была она мне в служении моем и никогда ни в чем не была мне помехой». «Если бы нужно было, то вольно пошла бы она со мной не только на нищету и изгнание, но и на смерть». [238]

21

Что происходит в Женеве за три года отсутствия Кальвина, видно лучше всего из посланий Женевского Магистрата к Страсбургскому (1540): «Бедствием для нас величайшим был уход наших двух проповедников (Фареля и Кальвина), потому что с того дня, как они ушли, мы уже ничего не видим, кроме междоусобий, предательств, убийств и разрушения всего гражданского порядка... Вот почему мы горячо желаем загладить нашу вину перед Кальвином... Если он только вернется к нам, мы возблагодарим Бога за то, что Он снова вывел нас из тьмы в свой чудный свет». «Именем Божиим умоляет вас (Городской Совет Страсбурга) весь Женевский народ и Магистрат вернуть им Кальвина... В руки ваши предаем мы дело нашего спасения». [239]

Очень скоро становится ясным для всех в Женеве, что враги евангельской веры и Кальвина – враги отечества, государственные изменники. Слишком очевидны были происки их, чтобы предать только что завоеванную свободу Республики бывшим насильникам, герцогу Савойскому и Женевскому епископу, Пьеру де ла

Бом (Beaume). Тайные переговоры ведутся и с Берном, и уже войска его захватывают Женевские земли. Только в последнюю минуту народ опоминается и восстает на предательскую власть правителей. Жалкая гибель постигает тех самых четырех Синдиков, которые были главными виновниками изгнания Кальвина: один из них, осужденный на смерть, выскочив из окна, чтобы спастись, сломал себе шею; другой казнен на плахе, а двое остальных бежали и осуждены заглазно на смерть. [240]

17 июня 1540 года женевские пастыри предлагают общему народному собранию «все восстановить так, как было за четыре года назад» (при Кальвине), потому что Женева в те дни была могущественна, всеми уважаема, и Церковь ее служила образцом для всех «Церквей». Но народ, чувствуя, что тогдашнее величие Республики создано было не им, а Кальвином, постановляет огромным большинством голосов на общем народном собрании 20 октября 1540 года: «Ради умножения и проповедания Слова Божия послать в Страсбург за мэтром Иоганном Кальвином, мужем ученейшим, дабы снова сделать его нашим проповедником». [241]

Только что Кальвин узнает об этом, как пишет Фарелю: «При одной мысли о возвращении в Женеву я весь содрогаюсь от ужаса... Чем больше я думаю, тем яснее вижу, из какой бездны извлек меня Господь». [242]

Две равносильные воли борются в Кальвине: одна – к созерцанию, к недвижности; другая – к движению, к действию, и он изнемогает в этой борьбе. Целых полтора года будет длиться его «удивительная нерешительность». [243]

В первых же письмах в Женеву из Страсбурга, от октября 1538 года, он обращается к «последним верным остаткам разрушенной Женевской Церкви – возлюбленным братьям своим во Христе». «Нет, люди не могут расторгнуть нашего союза, потому что сам Бог соединил меня с вами». [244] Это еще до приглашения вернуться в Женеву; но уже и после него: «Церкви Женевской я никогда не покину, потому что она мне дороже, чем жизнь». «Лучше я готов сто раз умереть, чем ее покинуть». [245] Это одна воля, а вот и другая: «Все еще зияет перед моими глазами та бездна, в которую я должен был бы (там, в Женеве) упасть и из которой выйти не мог бы. Я и здесь (в Страсбурге) несую мой крест, но все же не падаю под ним, раздавленный». «Все еще нет для меня на земле места страшнее, чем Женева, не потому, чтобы я ненавидел ее, а потому, что знаю, что ничего для нее сделать не могу». Любит ее только издали, а вблизи ненавидит: «Я для них (женевцев) невыносим, и они – для меня». [246] «лучше сто смертей, чем этот крест, на котором я каждый день истекал бы кровью из тысяч ран!» «Снова в Женеву?.. Отчего бы не прямо на крест? лучше сразу умереть, чем быть медленно замученным до смерти в этом застенке». [247] А все-таки тайная сила влечет его на крест: «Чем больше я ужасаюсь этого бремени, тем больше подозреваю себя в какой-то вине». [248]

Но Женева настаивает: «Так как весь народ наш горячо желает вашего возвращения... то мы сделаем все, чтобы вас удовлетворить». [249] 21 сентября 1540 года женевский магистрат поручает одному из именитейших граждан Республики, месьеру Ами Перрэнну (Ami Perrin), «изыскать средства для возвращения мэтра Кальвина». Берн, Базель и Цюрих присоединяют ходатайства свои к мольбам Женева. В Страсбурге, Франкфурте, Вормсе – всюду преследуют Кальвина послы из Женева. [250]

«Камень, отвергнутый строителями, делается главою угла, – пишет ему женевский проповедник, Иаков Бернард. – Возвращайся же к нам, досточтимый отец во Христе. Ты наш; сам Бог даровал нам тебя. Все мы зовем тебя, плача и стеная. Не медли же! Ты здесь увидишь милостью Божьей обновленный народ... Помоги Церкви твоей, да не взыщет Господь от руки твоей нашей крови!» [251]

В эти дни и Фарель убеждает Кальвина вернуться в Женеву, с такими же угрозами и заклятиями, с какими три года назад убеждал его остаться в Женеве. «Ты меня напугал своими угрозами, – отвечает Кальвин. – Ты знаешь, что я страшился этого зова, но не бежал от него... Зачем же ты нападаешь на меня с таким ожесточением, как будто я тебе уже не друг?» [252]

В Вормсе, где настигают его послы из Женева, он спрашивает совета у друзей. Но речь его дважды прерывается слезами так, что он вынужден убегать из комнаты. «В искренности моей не могли они усомниться, потому что я больше плакал, чем говорил... слезы текли из глаз моих скорее, чем слова из уст». Плачут и послы, думая, что всякая надежда потеряна. [253]

Все еще старается он отложить последнее решение. «Я не могу покинуть мое призвание в Страсбурге без согласия тех, кому Господь дал власть над этим городом». [254] Только тогда, когда уже чувствует, что нельзя больше откладывать, он пишет Фарелю: «Если бы я мог выбирать, то предпочел бы все возвращению в Женеву. Но помня, что я не принадлежу себе, приношу я сердце мое сокрушенное Господу в жертву». [255]

22

Кажется, все колебания кончены. Нет, продолжают до самых ворот Женевы. «К пастве, от которой я был оторван, возвращался я в великой печали, в страхе и в трепете... ибо, хотя я готов был отдать жизнь мою за Женевскую Церковь, но все еще тайная робость нашептывала мне, чтобы я не брал на себя бремени, которого не в силах буду вынести». [256]

Но где-то, когда-то, если не сейчас, то, вероятно, очень скоро по приезде в Женеву, кончится для него эта «удивительная нерешительность», и должен будет совершиться в нем тот поворот, который возвещается в первом, на земле сказанном слове Господнем: «Обратитесь» (Straphete); ветхого, а может быть, и всякого человека должен будет Кальвин совлечься – страшно обнажиться от всего человеческого, чтобы сделаться голым железом меча или заступа в руке Господней, и чтобы ей отдаться, с одной-единственной мыслью: «Делай со мною что хочешь!»

Если он самого себя не жалел, то не будет жалеть и других, если всем пожертвовал сам, то захочет, чтобы и другие жертвовали всем. Сердце свое пригвоздит ко кресту и даст ему истечь кровью, капля по капле, – не для того, чтобы сказать и не сделать, начать и не кончить, – нет, скажет и сделает все до конца, чтобы исполнилась, наконец, эта молитва:

Да придет Царствие Твое!

«Богом укрощенный, будет неукротим людьми; робкий до того, что трижды скажет, умирая: „Верьте мне, что я, по моей природе, очень робок“, – будет так бесстрашен, что ломает все преграды». [257]

«Не подобен ли этот человек головне, извлеченной из пламени?» – скажет Бэза словами Писания об умирающем Кальвине. [258] «Бог твой, Израиль, есть огонь поедающий». «Огонь неугасимый» запылает в Кальвине, но какой – Божеский или дьявольский, – в этом весь вопрос – не для самого Кальвина, конечно, а для тех, кто будет вместе с ним гореть в этом огне.

23

Утром 13 сентября 1541 года Кальвин, в сопровождении почетного глашатая и всего Женевского Магистрата, въезжает на коне в те самые Корнавенские ворота, из которых, три года назад, выехал изгнанником. [259]

С тихим, точно погребальным, торжеством встречает его народ.

Скоро я приду к вам. и испытаю не слова возгордившихся, а силу... Чего вы хотите? С железом ли мне придти к вам или с любовью и духом кротости? (1 Коринф, 4:19–21).

Эти слова ап. Павла вспомнились, может быть, многим женецам в тот день. Знали все, что Кальвин пришел к ним «с железом», знали, что он будет лечить их по Гиппократову жестокому правилу – сначала лекарством, потом железом и, наконец, огнем.

В следующее по приезде воскресенье взошел он на кафедру в соборе Св. Петра, где тысячная толпа, затаив дыхание, ждала, что он скажет, как обличит врагов своих. Но после краткой молитвы начал он толковать Писание с того самого места, на котором остановился три года назад, как будто начатую речь не на три года, а на три минуты прервал. [260]

Точно так же продолжал он и все дело свое с того самого места, на котором прервал его три года назад. «Я должен быть уверен, что речь идет не только о возвращении одного проповедника, но о восстановлении всей разрушенной Женевской Церкви», – эти слова его, сказанные послам из Женевы в ответ на приглашение вернуться туда, должны были вспомниться членам Большого и Малого Совета, когда Кальвин вошел к ним с ходатайством о том, чтобы

Мережковский Д. Кальвин filosoff.org
немедленно было приступлено к «Церковному Законодательству» (Ordonnances Ecclesiastiques).[261] Дело Церкви, разрушенное в 1538 году, восстанавливается в 1541 году.

20 ноября в общем народном собрании Церковное Законодательство утверждено единогласно. В тот же день на всех женеvских площадях и улицах затрубила, как на бранном поле, труба; перекликнулись протяжно-призывными, гулким эхом повторенными кликами, как в подблaчных альпийских долинах, пастушьи рога, и загудел, заревел большой колокол Св. Петра, чей долго молчавший медный язык в этот великий день заговорил опять; благовест его слышен был будто бы до другого берега Лемана и до самого подножия Салевских Альп. А на Молардской площади (Molard), где волновалось густо черневшее море голов, – в наступившей вдруг тишине, зычным голосом глашатая провозглашено было Царство Божие в городе Женеве: «Именем Бога Всемогущего! Так как сохранение Св. Евангелия Господа нашего, Иисуса Христа, во всей чистоте есть величайшее из всех человеческих дел... то мы, Синдики, Малый и Большой Совет города Женевы, постановили: в городе нашем ввести правление, согласное с Евангелием Господа нашего, Иисуса Христа».[262]

Вот когда Кальвин понял, что его изгнание было не случаем, а Промыслом; понял снова, для чего Бог тогда «наложил на него сильную руку свою». Дело, начатое в 1541 году, будет им кончено через двадцать три года, когда провозгласит он, умирая, Царство Божие: «Нет на земле власти иной, кроме установленной Богом, Царем царствующих и Господом господствующих!»[263]

24

После Ветхозаветной Теократии, здесь, в Женеве, снова является впервые не святой человек, а Святой Народ; целью государства и Церкви становится снова не личная, а общая святость; избранному народу снова говорит Бог Израиля: «Будете святы, потому что Я свят».

Вы – род избранный, царственное священство, народ святой (1 Петра, 2:9), – говорит женеvским гражданам устами Кальвина тот же Бог.[264]

Там, в Мюнстере, совершается огненное, бурное, а здесь, в Женеве, тихое, почти незаметное превращение Истории в Апокалипсис, времени в вечность; там воспламенение, а здесь оледенение. В Кальвиновом зодчестве Царства Божия все почти так же геометрически ясно, прозрачно и правильно, как в ледяных кристаллах.

Две пирамиды – одна, острием вниз, другая – вверх; две власти – одна у всех, другая у немногих: Демократия и Аристократия. Слишком неустойчивую, потому что обращенную острием вниз, пирамиду народовластия Кальвин, перевертывая, ставит в положение наиболее устойчивое – острием вверх; демократию приносит в жертву сначала аристократии, а потом – Теократии.

Вся церковно-государственная власть в Женеве будет принадлежать трем Советам: Малому – из двадцати четырех членов, Среднему – из шестидесяти, и Большому – из двухсот. Общему народному Собранию не может быть предложено ничего, что не было бы постановлено в Большом Совете; Большому – ничего, что не было бы постановлено в Среднем, а Среднему – ничего, что не было бы постановлено в Малом.[265] Так власть народа – всех – постепенно сосредоточивается сначала в руках у немногих, а потом – у Одного – Царя-Священника – самого Кальвина, и, наконец, у самого Бога; так пирамида власти, суживаясь, заостряется в одну точку, соединяющую небо с землей, – первую точку Царства Божия – Теократии. Это и значит: «Нет на земле власти иной, кроме установленной Богом».

Мне дана всякая власть на небе и на земле (Матфей, 28:18). Кальвин соединяет или хотел бы соединить государство с Церковью. Но знает ли он, что они соединиться не могут: тает государство в Церкви, как лед в огне, а Церковь гаснет в государстве, как огонь в воде. Может быть, Кальвин это знает, но не хочет знать, потому что никакой опыт Царства Божья на земле, в Истории, не был бы без этого возможен.

Движущая ось всего государственно-церковного правления в Женеве, а вместе с тем и связующее между государством и Церковью звено – Консистерия, где присутствуют шесть лиц духовных, «Проповедников», и двенадцать – полудуховных, полусветских, – Старейших (Seniores), чья присяга гласит:

«Клянусь наблюдать за всеми соблазнами и противиться всякому идолопоклонству (почитанию икон), кощунству, распутству и всему, что препятствует Реформе, – Преобразованию (Церкви и государства) по Евангелию. Если я узнаю о чем-либо заслуживающем доноса в Консисторию, то клянусь доносить, исполняя мой долг без гнева и милости». [266] Видно по этой присяге, что государственно-церковная должность Старейших уже совпадает с должностью будущих Согладатаев, Сыщиков.

Главное для Кальвина – «прекрасный порядок» (*bel ordre*) – геометрическая правильность ледяных кристаллов – «дисциплина» в государстве и в Церкви. «Будем только бороться за святую власть дисциплины (*rignemus pro sacra potestate disciplinae*), и сам Господь истребит дыханием уст своих всех наших врагов». [267] Но Кальвин хочет быть терпеливым и кротким: «Если другие не делают, чего мы хотим, то будем делать сами, что можем». «Все (в правлении) да будет умеренно, чтобы никто не был обижен». – «Будем остерегаться, как бы нам не сделать дисциплину пыткой, а себя – палачом». – «Дисциплина должна быть отеческой, кротко наказующей непослушного сына лозой». – «Наказуемый не должен быть угнетаем чрезмерной печалью, чтобы лекарство не сделалось ядом, – учит Кальвин и напоминает слова св. Киприана: „Долготерпение и милосердие наше готово принять всех, кто к нам приходит. Мы желаем, чтобы все вернулись в лоно Церкви... Я, может быть, сам грешу, слишком легко прощая чужие грехи. Я обнимаю с любовью всех приходящих ко мне с покаянием“». [268] Вот так мягко стелет Кальвин, но жестко будет спать.

«Власть меча» (*potestas gladii*) принадлежит государству; Церковь никого не казнит: высшая кара в ней – лишение Евхаристии, потому что «Церковь от крови отвращается (*Ecclesia abhorret a sanguine*)». [269]

Милует Церковь – государство казнит. Так было в Св. Инквизиции Римской Церкви; точно так же будет и в Инквизиции Женевской Церкви, и даже здесь будет совершеннее, неумолимее, чем там.

25

Государство, сделавшись Церковью, становится для каждого гражданина как бы духовником, которому совесть духовного сына открыта, так что область уязвимости ее бесконечно расширяется. Самое тайное, внутреннее, некогда от государственного насилия свободное, становится внешним, явным и от насилия беззащитным.

Город кишит бесчисленным множеством сыщиков – так называемых «Стражников», чье око, подобно Всевидящему Оку, проникает всюду; стены домов для него прозрачны, как стекло. [270] Судятся не только дела, но и мысли и чувства. Всякая, хотя бы самая тайная, попытка восстать на Царство Божие – Теократию – подвергается как государственная измена лютейшим карам закона-мечу и огню. [271]

Если чудом кажется то, что Кальвину удалось наложить такое железное иго на такой свободолюбивый народ, как женевские граждане, то чудо еще большее – то, что весь народ под это иго вольно идет, потому что ни о каком насилии не может быть и речи, по крайней мере в начале Кальвинова действия. Две тысячи граждан, созванных 20 ноября 1541 года в соборе Св. Петра, чтобы утвердить Церковное Законодательство, статью за статьей, слишком хорошо знали, о чем идет речь. После каждой статьи, прочитанной с кафедры, задавался вопрос, не хочет ли кто-нибудь возразить, и только молчание всех считалось знаком согласия. [272]

Трудно людям наших дней поверить в такие случаи, как эти: именитый купец, осужденный за прелюбодеяние на смерть, уже взойдя на плаху, благодарил Бога за то, что будет казнен, «по суровым, но нелицеприятным законам своего отечества». А в 1545 году, в дни страшной чумы, колдун и ведьма, муж и жена, приговоренные к сожжению за то, что «сеяли в народе чуму», радостно идут на костер. Благодарят и эти двое Бога и Кальвина за то, что «будут, может быть, избавлены временной смертью от вечной». [273]

Тем же чувством проникнут и весь женевский народ, что видно по такому, для нас тоже невероятному, случаю: один гражданин, приговоренный за прелюбодеяние к плетям, обжаловал этот приговор в Малом Совете, а Совет Двухсот – собрание более народное – не только не отменил приговора, но и осудил виновного на смерть. [274]

Вольно люди идут под ярмо, а когда, почувствовав невыносимую тяжесть его, опомнятся, – будет поздно: в воздухе, из которого выкачали весь кислород, задохнутся медленно, как в «пробковой комнате».

Будет весь женеvский народ Шильонским Узником, а теократия Кальвина – черной подземной тюрьмой в небесной лазури Лемана.

В строящемся Граде Божьем камни – люди, а молот каменотеса, Кальвина – лишение Евхаристии.

Винт на страшном орудии пытки, «испанском сапоге», завинчивается так, что выступает кровавая, красная на сером железе роса, и ломаные кости хрустят: этот винт – страшно сказать – Евхаристия.

Что это – Царство Божие или застенок? И то и другое вместе в чудовищном смешении.

26

Кальвин среди женеvских Вольнодумцев – либертинцев – Гулливер среди Лиллипутов: это ложное впечатление зависит от того, что почти все исторические свидетельства о либертинцах идут от их злейших врагов и невежественных доносчиков.

кто такие либертинцы? сами они себя называют «людьми духа» (spirituali), так же как Нищие братья св. Франциска Ассизского в XIII–XIV веке. «Есть только дух Божий единый, Творец и тварь вместе», – учат они. «Вот почему добро от зла, вечное от временного, Бог от диавола неразличимы». вывод отсюда тот же, что у Гностиков: «Безграничная свобода людей духа»; «все позволено». [275]

Но главная сила их – не в богословском умозрении, а в политическом действии. лучше всего определяется оно их боевым кличем: «Свобода!»

либертинцы, верные ученики Рабле и Эразма, «слишком ранние предтечи слишком медленной весны», – люди XVIII века в XVI-м; не сравнительно безвредные атеисты, безбожники, а гораздо более опасные «антитеисты», «богопротивники».

Длящаяся четырнадцать лет (1541–1555) борьба либертинцев с Кальвином есть не что иное, как борьба за будущий мир – двух духов – Возрождения и Реформации. [276]

Начал борьбу Пьер Амо (Ameaux), член Малого Совета, именитый гражданин, фабрикант игральных карт и содержатель тайных игорных притонов. жена его, одна из первых благовестниц «свободной любви», посажена в тюрьму, на цепь. [277]

Как-то раз, подвыпивши с друзьями за ужином, мэтр Пьер говорит: «Звуча непристойного не смеют произвести великолепные господа Магистрата, не посоветовавшись с мэтром Кальвином. А кто он такой? Былой Пикардиец, мечтающий сделаться женеvским Папой!» [278]

Эти насмешки – только булавочные уколы, но такие ядовитые, что Кальвин вспомнит о них, умирая.

В 1542 году, после долгого заключения в тюрьме и лютых пыток, Пьер Амо «покаялся». Босоногого, в одной рубашке, с горящей восковой свечой в руке, водили его по улицам и площадям Женевы, и на каждой из них, стоя на коленях, «громким и внятным голосом каялся он в том, что оскорбил Господа Бога и господина Кальвина». [279]

Начатое Пьером Амо дело продолжает Ами Перрен (Perrin), бывший друг Кальвина, посол к нему от Женевы, Первый Синдик и главный военачальник Республики, народный кумир, «трагикомический Цезарь» (Caesar comicus et tragicus), по слову Кальвина. [280]

Дочь богатого суконщика, Франсуа Фавра (Favre), отца либертинского символа Веры, поседелого и ожесточенного в пороках, – жена Перрена – помесь леди Макбет с Виндзорской проказницей. «Есть такие чертовки (diablesses),

которые могли бы соблазнить и Ангелов и весь порядок Божий разрушить», – говорит о ней Кальвин.[281] Эта «Пентезилая», «сверхъестественная Фурия», осыпает судей своих, господ Магистрата, такой непристойной бранью, что они краснеют и затыкают уши, а она, не довольствуясь этим, кидается на них, чтобы выцарапать им глаза, так что приставы должны выносить ее на руках из судебной палаты.[282]

Скачет на коне, как Амазонка, по улицам – только искры летят из-под копыт. Однажды чуть не задавила Кальвина и, обернувшись, молча кинула на него такой презрительный взор, что как будто хлыстом по лицу ударила. Вспомнился ему, может быть, взор Этьенна де ла Форжа из огня костра – такой же удар хлыста по лицу.[283] «Зачем ты кланяешься этой собаке?» – говорит мэтр Фавр о Кальвине прохожему на улице и жалуется друзьям: «Кальвин измучил меня больше четырех епископов, которых я пережил!»[284]

В 1547 году открыт был заговор Перрена и Фавра, с целью уничтожить «дисциплину», вместе с властью консистории.[285] 17 сентября произошло народное восстание, усмиренное как бы чудом Кальвина. Кинувшись в самую густую толпу мятежников и призывая Бога во свидетели, что пришел к ним для того, чтобы подставить грудь их мечам, он воскликнул: «Если хотите крови, то начинайте с меня!»

Но толпа перед ним расступилась, и никто его пальцем не тронул: снова победила «магия». «Бог меня хранит донныне так, что и величайшие злодеи не смеют прикоснуться ко мне, как будто покушение на меня для них отцеубийство», – пишет Кальвин об этом восстании.[286]

Фавр, вместе с дочерью франсуазой, «сверхъестественной Фурией», осуждены на вечное изгнание.[287]

27

Первый мученик либертинской свободы – Жак Грюэ (Gruet).

27 июня 1547 года найдено прибитое к кафедре в соборе Св. Петра мятежное воззвание, угрожавшее смертью Кальвину и всем французским изгнанникам: «В стольких господах народ не нуждается... полно им тиранствовать... Суд над ними будет короток».[288] – «Он – великий лицемер, который требует себе поклонения, а Святейшего Отца нашего, Папу, лишает всякого достоинства», – говорит Грюэ о Кальвине. А в найденных потом бумагах его было сказано: «Есть опасность, чтобы в государстве, управляемом одним меланхоликом (*un homme mélancholique*), не началось народное восстание, которое будет стоить жизни тысячам граждан». «Я не думаю, чтобы сам Грюэ сочинил это воззвание, но так как оно его рукой подписано, то он будет предан суду, – решает Кальвин. – Он (Грюэ) был склонен проповедывать скорее ложные учения, нежели истинные... Он должен иметь сообщников, которых должен назвать», – гласит приговор.[289]

В доме Грюэ найдена на клочках бумаги черновая версия возвания к «Самодержавному Народу» (*Le Peuple Souverain*) против Дисциплины: «Все эти законы, как Божеские, так и человеческие, – только безумие, измышление человеческой прихоти».[290]

В те же дни открыт был заговор не только против Кальвина, но и против Женевской Республики – тайные переговоры Либертинцев с герцогом Савойским – государственная измена.[291]

В течение целого месяца, от 28 июня до 25 июля 1547 года, Жака Грюэ пытали каждый день, утром и вечером. Кальвин надеялся, что он выдаст Фавра и Перрена. Но он никого не выдал, только в страшных муках молил палачей: «Убейте, убейте меня!»[292]

26 июля он был обезглавлен на Шампельском поле (*Champel*), и голова его прибита над телом к позорному столбу.[293]

Вечным проклятьем падает на голову Кальвина эта кровь первого мученика за свободу.

Дня через три после казни открыт новый заговор молодых людей, поклявшихся утопить в Роне Кальвина и всех его сообщников, членов консистории, чтобы отомстить за казнь Грюэ, а в окрестных селениях ходят слухи, будто бы

Кальвин уже убит, и в Женеве происходит такое междоусобие, что «конец Республики неминуем».

«Мы теперь должны бороться на жизнь и смерть», – пишет Кальвин накануне того дня, когда найдено воззвание Грюэ.[294] «Когда я проходил по улицам, на меня натравливали собак: „Куси! Куси!“ – и они хватили меня за полы, кусали мне ноги», – вспомнит Кальвин через много лет.

«Кальвин – Каин! Каин – Кальвин!» – кричали ему на улицах маленькие дети. Вспомнит он и об этом, умирая.[295]

Казню Грюэ не довольствуясь, он сжигает рукой палача мнимую еретическую книгу его – несколько жалких черновых листков, найденных в печке, в водосточной трубе и в мусорной куче.[296]

28

«Черная смерть», чума – вечная спутница Кальвина в Нойоне, в Париже, в Страсбурге и, наконец, здесь, в Женеве. После первых вспышек ее в 1542 году разразилась она с ужасающей силой, ранней весной 1543 года.

Город точно вымер. Слышались издали зловещий колокольчик, тяжелое громохание колес по камням мостовой, и прохожие разбежались в ужасе. Медленно проезжала черная, просмоленная телега, с кучей сваленных трупов и шевелившихся иногда под ними живых, которые везли за город, чтобы кинуть в общую яму. В черной маске сидел на телеге возница – так называемый «Ворон» (Corbeau). Скорченные, почерневшие тела валялись также на улицах.

«Я боюсь, – пишет в эти дни Кальвин, – что очередь быть духовником у чумных скоро дойдет и до меня, потому что мы принадлежим каждому члену нашей паствы и не можем покинуть тех, кто больше всего нуждается в нас». – «Мэтр Кальвин да будет освобожден от очереди, потому что Церковь нуждается в нем», [297] – решает Совет.

«Сеятели чумы» (Semeurs de peste) смазывают ночью ручки замков на дверях гномом чумных, думая, что сами будут охранены от заразы договором с дьяволом и что, наследуя все имущество умерших, несметно разбогатеют. Самое страшное – то, что это делают они не холодно, а как бы опьяненные величием зла: все хотят разрушить, чтобы все приобрести.[298]

Старый, почтенного вида поселянин пришел однажды к господам Синдикам и попросил ему отпустить, точно лекарства из аптеки, «чумной мази» на пятнадцать флоринов, а на допросе признался, что приходил к нему ночью какой-то «Веселый Человек», весь в черном, с низко надвинутой на лоб черной шляпой; когда же он пристальней взгляделся в него, тот сделался похож на черный труп зачумленного и обещал сделать его богатым, если только он предастся ему душой и телом; а потом принес ему блюдо червонцев. Этот «Веселый Человек» – может быть, не кто иной, как черный «Ворон» (Corbeau), возница в телеге чумных, или сам «Черный Француз», главный «Сеятель чумы» – Кальвин. «Трудно поверить, какие клеветы возводил на него в те дни Сатана, потому что его одного обвиняли во всем, что тогда происходило в Женеве», – вспоминает Бэза.[299]

Запылали костры. Сожжено пятнадцать ведьм, а колдунов казнили «еще с большею строгостью» – должно быть, после несказанных пыток, четвертовали. Многие удавливались в тюрьмах, чтобы избежать этих пыток. Сожжен и врач с двумя помощниками из больницы чумных. Но как ни люты были казни, «сеяние чумы» продолжалось. Точно бесы вошли в людей и гнали их, как стадо Гадаринских свиней, в пропасть. Женщины кидались в колодцы и выбрасывались из окон, чтобы не умереть от чумы.[300]

Вот когда «Царство Божие» в Женеве сравнялось с «Царством Божиим» в Мюнстере.

Но никогда еще либертинцы и соблазненные ими люди не веселились так, как в эти страшные дни. Все питейные дома и притоны были полны, а церковь пуста.

Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,

И в аравийском урагане,
И в дуновении чумы...
Итак, – хвала тебе, Чума,
Нам не страшна могилы тьма,
Нас не смутит твое призванье!
Бокалы пеним дружно мы,
И девы-розы пьем дыханье, –
Быть может... полное Чумы.
(Пушкин. «Пир во время чумы»)

Пляску смерти пляшут все. В загородном доме, в Бельериве (Bellerive), на свадьбе, ведет хоровод старый Синдик, Корн, неподкупный «цензор нравов», председатель Консистерии. Пляшут, подобрав полы черного плаща, толстый, красный, весь в поту, и франсуаза Перрен, «сверхъестественная Фурия», пляшет вместе с ним.[301]

В эти дни тяжело заболела после родов Иделетта, и маленький гробик Жана, выкидыша, выносят из дома Кальвина.[302]

В те же дни членам Малого Совета и четверем Синдикам поручено было следствие по делу «человека, унесенного бесами». «Жил в те дни один поселянин в усадьбе близ Женевы, негодный человек, пьяница и богохульник, – вспоминает Кальвин. – После того как жена его и дети умерли от чумы, заболел и он и был уже так слаб, что пальцем не мог пошевелить. Но вдруг однажды ночью выскочил из постели. Мать и сиделка хотели его удержать, но он забился у них в руках и закричал, что погиб, потому что сделался добычей дьявола. А когда они убеждали его молиться, отвечал:

„Я не могу молиться, потому что принадлежу дьяволу и столько же думаю о Боге, сколько о башмаке дырявом!“ Через несколько дней опять лежал он в постели, а мать его сидела на пороге дома, в дверях. Было около семи часов вечера. Вдруг, выскочив из постели и перепрыгнув через голову матери, как будто поднятый сверхъестественной силой, он пустился бежать в поле так быстро, что казалось, та же сила, как вихрь, несла его через плетни и станы, поля и виноградники, пока, наконец, он не исчез где-то вдаль, над самой кручей Роны, откуда мог упасть только в воду... А на следующее утро лодочники, посланные, чтобы отыскать тело его, ничего не нашли, кроме валявшейся на берегу шляпы».

Кальвин, проповедуя в церкви, упомянул об этом случае как о «явном суде Божьем». Но, видя, что ему никто не верит, воскликнул: «Лучше бы мне двадцать раз умереть, чем видеть такие медные лбы, как у вас, безбожники!»[303]

Слишком понятна молитва проклятых Богом «Сеятелей чумы»: «Если мы – дети не Бога, а дьявола, то и будем служить нашему отцу! Бог не помог – помоги, Сатана; проклял нас Бог – благослови, Сатана!» Так же молится и вся огромная, «ужасным Приговором» (decretum horribile), по Кальвину, осужденная половина человечества.

Кальвин во время чумы, может быть, смотрел иногда из окна дома своего на улицу Каноников, как долго по заходе солнца в темно-лиловом небе, точно исполинские изнутри освещенные рубины, снега Мон-Блана, удивляясь лучезарному к судьбам людей спокойствию земли и неба, или Того, Кто на небе постановил «ужасный приговор» над землей.

29

В 1553 году открыт был опаснейший заговор Филиберта Бертелье (Philibert Berthelier), начальника Монетного двора, сына великого женева патриота, сложившего голову на плахе за свободу и отечество. Весь женева народ свято чтит в сыне память отца.

Вырвать у Кальвина главное оружие – отлучение от Церкви – вот что хотят Либертинцы в деле Бертелье. Пользуясь тем, что в Малом Совете большинство членов – противники Кальвина, Бертелье, отлученный за вольнодумство от Церкви и лишенный Причастия, явившись в Совет, ходатайствует, чтобы ему позволено было причаститься, вопреки воле Кальвина и всей Консистерии.[304] «Я – христианин, ничем не хуже, чем Кальвин!» – жалуется Бертелье Совету.[305]

В то же время Кальвин, собрав всех духовных лиц из Женевы и окрестностей,

Мережковский Д. Кальвин filosoff.org

входит с ними в Малый Совет с ходатайством о недопущении отлученных к Причастию. «Кальвин с Консistorией хотят захватить всю государственную принадлежующую власть!» – кричат в Совете Либертинцы, заглушая криком своим все голоса. «А некто, де Саллар (des Sallars), едва не заколол мэтра Кальвина кинжалом, так что присутствующие вынуждены были кинуться между ними, чтобы их разнять», – сказано в протоколе одного из таких же собраний, еще в 1551 году: видно по этому, чем могли бы они каждую минуту сделаться для Кальвина. [306]

В эти дни Перрен был уверен, что одержит победу, потому что случится одно из двух: или Кальвин не подчинится Совету и будет осужден как мятежник; или подчинится, и власть Консistorии, а значит, и самого Кальвина навсегда будет сломлена.

Малый Совет, под председательством Ами Перрена, не слушая возражений Кальвина, постановил: «Если Бертелье чувствует себя чистым в совести своей и достойным Причастия, то пусть причащается». «Бог и святые Ангелы Его да будут мне свидетели, что лучше я сто раз пойду на смерть, чем предам такому поруганию Тело и Кровь Господню!» – отвечает Кальвин, в 1553 году теми же почти словами, как в 1538 году. «Лучше я умру, чем брошу святыни псам», – пишет он 25 октября 1553 года, почти накануне Серветовой казни. Но Совет, вопреки всем его увещаниям и угрозам, настаивает на своем решении. [307]

Ночью по городу разносится слух, что утром в соборе Св. Петра Либертинцы силой принудят Кальвина допустить их к Св. Причастию. Утром, в самом деле, собралась у Св. Петра огромная толпа, в которой можно было видеть Бертелье, с главными вождями Либертинцев, у самой Трапезы, а на скамьях Консistorии – духовных сановников с такими спокойными и суровыми лицами, что видно было, как твердо решили они исполнить свой долг. [308]

«Если кто-нибудь из отлученных приступит к Трапезе, я скорее дам себя убить, чем протяну руку мою, чтобы предать Святость Божию на поругание!» – воскликнул Кальвин и, медленно сойдя с кафедры, стал перед Трапезой. И вдруг наступила теперь, в 1553 году, такая же грозная тишина, как тогда в 1538 году. Бледный человек с изможденным лицом, живой мертвец, стоял перед Трапезой, и горящие глаза его искали Бертелье в толпе отлученных. Но тот, оробев, спрятался в толпе. «Все произошло так тихо и торжественно, как будто само Величество Божие присутствовало в доме своем», – вспоминает Бэза. [309]

«Кальвин снова победил, но когда, в тот же день после полудня, взошел на кафедру Св. Петра, то возвестил пастве возможность своего второго вольного изгнания из Женевы: „Я не знаю, не есть ли это моя последняя проповедь в Женеве, не потому что я этого сам хотел, но потому, что не могу остаться у вас, если будут меня принуждать делать то, что против воли Божьей“. [310]

Он грозит таким же уходом, как в 1538 году, но втайне знает, что уйти ему некуда, потому что слишком далеко зашел.

30

Как далеко зашел Кальвин, лучше всего видно по делу Сервета.

Михаил Сервет родился в Вилланове, в Арагонии, в 1509 или 1511 году: значит, он – ровесник или почти ровесник Кальвина. Воспитывался в доминиканском монастыре, где был оскотлен, как это делали иногда с детьми, чтобы сохранить голоса их для церковного пения. Учился законоведению в Тулузском университете и медицине – в Парижском; изучает также философию, Св. Писание, Талмуд и астрологию. [311]

В 1534 году, в Париже, во время лютых гонений на протестантов, Кальвин предложил диспут Сервету, уже тогда подозреваемому в ереси. „Я сделаю все, что могу, чтобы его спасти (от ереси)... хотя и знаю, что в этом диспуте я подвергаю жизнь мою опасности“, – пишет Кальвин накануне диспута. Сервет согласился прийти на него, но не пришел, может быть, испугавшись сыщиков Св. Инквизиции. [312]

Сервет – не только великий теолог, но и великий естествоиспытатель. „Может быть, в истории всего человечества не найдется и десятка людей, одаренных таким научным ясновидением, как Сервет“, – скажет Элизе Реклю (Elisee Reclus: „Michel Servet... un de ces hommes de divination scientifique, comme

on en compte a peine dix ou douze dans l'histoire de l'humanite toute entiere").[313] Можно сказать, что открытием кровообращения сделал он для человеческого тела то же, что Коперник – для небесных тел, а Колумб – для тела земли. Гарвей (Harvey) через полвека, только dokonчил это великое открытие Сервета. „Тело человеческое есть величайшее из всех чудес (Духа), а кровообращение – одно из величайших чудес тела“, – говорит он в книге своей „Восстановление христианства“ („Christianismi Restitutio“), в той главе, которая посвящена Духу Святому.[314]

Но иногда Сервет в теологии – такой же „искатель приключений“, „авантюрист“, каких много в XVI веке, от Иоанна Лейденского, „Царя Христа“, в Мюнстере, до завоевателя Мексики, Кортеса, и второго открывателя Америки, Америго Веспуччи. Тот же демон приставлен и к нему, как к тем. Шалость, вечная детскость и безответственность–таковы свойства этого демона, который делает его „неудавшимся гением“.

В 1531 году печатает он в германском городке Гагенау (Hageneau) первую книгу свою „Об ошибках в учении Троицы“ („De Trinitatis erroribus“). Грубыми кощунствами вызывает он возмущение даже таких свободных протестантских теологов, как Цвингли, Эколампадий, Буцер и Лютер.[315]

В пятидесятых годах, будучи врачом Виеннского архиепископа в Дофинэ, Сервет носит маску правовернейшего католика и в то же время печатает в тайной типографии еретическую книгу, „Восстановление христианства“ („Christianismi Restitutio“), с такими же возмутительными кощунствами, как в той первой книге своей.

В те же годы начинается самое темное и злое дело в жизни Кальвина – дело Сервета. Оно начинается тем, что нельзя назвать иначе как „доносом“.

26 февраля 1553 года французский изгнанник–протестант в Женеве, друг и ученик Кальвина, Гильом де Три (Trie), получил от него письмо Сервета и заметки, писанные его рукой на полях книги Кальвина „Восстановление христианства“, с тем чтобы послать их в город Виенну, родственнику своему, правоверному католику Арнею (Arney) для передачи вместе с доносом де Три в тамошнюю Святейшую Инквизицию. „Очень трудно мне было получить эти заметки от Кальвина не потому, чтобы он не желал прекратить столь гнусные богохульства, а потому, что он полагает, что с ересью должно бороться не мечом, а словом Божьим“, – пишет Арнею де Три (J'ai eu grand peine a retirer ce que je vous envoie de Monsieur Calvin, non pas qu'il ne desire que de tels blasphemes execrables ne soient reprimes, mais parce qu'il lui semble que son devoir est, quant a lui qui n'a point de glaive de justice, de convaincre plutot les heresies par doctrine)». [316]

Сколько бы протестанты от тех дней до наших ни оправдывали Кальвина, донос несомненен, потому что он не мог не сознавать, что делает, выдавая письма и заметки Сервета судьям Инквизиции. Это, впрочем, и сам Кальвин признает: «Я этого (доноса) вовсе не отрицаю». [317] «Если бы я... истребил его (Сервета) огнем небесным, то исполнил бы только мой долг, потому что не одна только маленькая Женевская Община вверена моему попечению, но и вся Церковь Вселенская». Кальвин забывает, что он сожжет Сервета не «небесным огнем», а земным. Но если дело идет о «славе Божьей» (Gloria Dei), то он не сомневается, что все позволено, – в том числе и донос.

4 мая 1553 года, схваченный Великим Инквизитором Франции, доминиканцем Матье Ори (Mathieu Ori), по доносу де Три и Кальвина, Сервет был посажен в тюрьму. [318] На первых допросах он заперся во всем, доказывая, вопреки очевидности, что он – не Михаил Сервет, а Михаил Вилланова, так как только под этим именем он и был известен во Франции. Но когда увидел, что в руках судей находятся собственноручные записки и письма его к Кальвину, то пал духом и решился бежать, пользуясь тем, что тюремный надзор за ним был так слаб, как будто сторожа хотели облегчить ему бегство, может быть, потому, что он был всеми любим как искуснейший врач и добрейшей души человек. Выманив у тюремного начальника ключ от садовой калитки, перелезая через стены, пробираясь, и, только чудом не сломав себе шею, сумел он убежать.

Судьи, узнав об этом, постановили «сжечь на медленном огне» куклу его, вместе с пятью огромными томами книги его «Восстановление христианства». [319]

Сервет решил бежать в Неаполь, чтобы сделаться там врачом среди

многочисленных испанских соотечественников. Прямой путь в Неаполь шел для него вовсе не через Женеву, но месяца четыре он, прячась от сыщиков, блуждал по всей Франции, то приближался к Женеве, то удалялся от нее: так порхающий вокруг свечи мотылек хочет улететь от нее и не может. «Я не могу понять, какая сила, подобная роковому безумию, влекла его в Женеву», – удивляется Кальвин (*Nescio quid dicam, nisi fatali vesania fuisse corruptum ut precipite jaceret*).[320]

31

Двух существ более противоположных, чем Кальвин и Сервет, нельзя себе представить. Огнеупорность бесконечная и такая же воспламеняемость – так можно бы выразить осязательно-физически эту их глубочайшую метафизическую противоположность. Бьющееся около пламени крыло мотылька и докрасна, может быть, адским огнем распаленный чугунок – вот сердце Сервета и сердце Кальвина.

Где проходит между ними линия водораздела, лучше всего видно по тому, как оба они относятся к Апокалипсису. Книга эта Кальвину так чужда и непонятна, что он едва скрывает свое отвращение к ней или бессознательный ужас. Это единственная из книг Св. Писания, которую он отказывается объяснять; мимо нее проходит он, едва в нее заглянув. А для Сервета – это вечная духовная родина, потому что он сам – «человек из Апокалипсиса». [321] Кажется, нечто большее, чем только детское тщеславие, – то, что он называет себя, Михаила Сервета, «Михаилом Архангелом» – вестником Конца, – может быть, тем не названным Ангелом Апокалипсиса, который «клялся Живущим во веки веков, что времени больше не будет» (Откр., 10:6), или тем другим, тоже не названным, «летающим по середине неба, который имел Вечное Евангелие» (Откр., 14:6).

К будущему весь устремлен Сервет – к концу Всемирной Истории, Апокалипсису, а Кальвин – к прошлому – к Ветхому Завету, началу Истории. Самое огненное, движущее слово для Кальвина: было, а для Сервета: будет. [322]

Но если первая и последняя цель Реформации – не то, чем христианство было, а то, чем оно будет, то Реформатор, в вечном смысле этого слова, – не Лютер и не Кальвин, а Сервет. Он один предчувствует то «противоположное согласие» (*concordia discors*), двух Заветов – Отца и Сына в Духе, – которого ни Кальвин, ни Лютер, да и почти никто в христианстве после Иоахима Флорского, не предчувствовал; он один знает, что христианству суждено исполниться под знаком не Двух, а Трех – Отца, Сына и Духа.

«Сколько раз я тебе говорил, что ты – на ложном пути, допуская чудовищное разделение трех Лиц в Существое Божиим», – пишет Сервет Кальвину уже в 1546 году, за семь лет до костра. «Полно тебе извращать Закон против меня, как будто ты имеешь дело с иудеем. Так как ты не различаешь язычника от иудея и христианина, то я тебя научу различать их как следует». [323] Это не в бровь, а в глаз.

«Вместо единого истинного Бога, вы поклоняетесь трехглавому Церберу» (то есть ложному богу – идолу), – пишет Сервет одному из женеvских проповедников, учеников Кальвина. [324] И тотчас прибавляет: «Истинной Троицы я никогда не называл „Цербером“; я так называл только ложную». [325] Этим он, конечно, не оправдан, потому что, произнося хулу если не на Бога, то на веру людей в Бога, он соблазняет их с бесцельной жестокостью. Но так же не оправданы и те, кто за это судит его с еще более бесцельной жестокостью. «Вырвать бы из него внутренности и четвертовать!» – скажет о нем «кротчайший из людей», [326] Буцер. Но если подвергать такой казни всех тогдашних, в сквернословии повинных теологов, то надо бы казнить и Лютера, и Кальвина, а может быть, и самого Буцера.

Самое удивительное здесь то, что Кальвин и Сервет не видят, как внутренне согласны они, если не в догмате, то в опыте Троицы. «Бог лепечет людям о Себе, как нежная кормилица – младенцу... Но люди познают в этом лепете не сущность Бога, а только явление Его; не то, каков Он есть в самом Себе, *quid apud se*, а лишь то, каким Он кажется людям», *sed qualis erga nos*. [327] Кто это говорит – Сервет? Нет, Кальвин, но Сервет повторяет почти словами Кальвина: «В Боге постижимы людям не три Лица, а только три Состояния (Явления) или Откровения», *dispositiones, revelationes*. [328]

«Верую во Единого Бога, Отца, Сына и Духа, как учит Церковь», – исповедует Сервет, уже идучи на смерть. «Я знаю, что за то умру, но смерти не боюсь,

Мережковский Д. Кальвин filosoff.org
потому что иду на нее по словам Учителя! (Mihi moriendum esse certum scio; sed non propter ea animo deficior, ut fiam discipulus similis Praeceptoris)». [329]

Знает он и то, что умрет не за прошлое—двух, а за будущее – Трех.

32

Около середины августа 1553 года въехал Сервет в Женеву через те же Корнавенские ворота, через которые въехал в нее и Кальвин, семнадцать лет назад, и остановился, может быть, в той же гостинице под вывеской Розы, на Молардской площади, где останавливался Кальвин. [330]

«Промысел Божий привел его в Женеву, где тотчас же он был узан и схвачен», – вспоминает Бэза, а по другим свидетельствам, Сервет пробыл в Женеве около месяца, выжидая, чем кончится спор Либертинцев с Кальвином, по делу отлучения от Церкви Бертелье, и надеясь, что, в случае падения Кальвина, он, Сервет, займет место его в Женеве. [331] «Я прибыл в Женеву, чтобы продолжать путь дальше, на Цюрих, и скрывался, как только мог; в городе никто меня не знал, и я никого», – вспоминает сам Сервет. [332]

Вынужденный по закону, как все чужеземцы, приезжавшие в город, объявить имя свое хозяину гостиницы, он назвал себя «Михаилом Вилланова, испанским врачом». Так как назначенные от Консистерии сыщики, врываясь в дома, заставляли всех граждан и чужеземцев ходить в церковь на проповедь, то вынужден был к этому и он, а в церкви легко мог быть узан одним из французских изгнанников. [333] Вот почему, решив не оставаться лишнего часа в Женеве, он заказал себе лодку, чтобы рано поутру, на следующий день, 13 августа, переехать Женевское озеро и продолжать путь в Цюрих. [334]

Утром уже увязывал последний тюк, когда послышался тихий стук в дверь и, не дожидаясь ответа, вошел старичок, в длинной, черной одежде, с бледным и добрым лицом, вынул из-под полы короткую, белую, с серебряным набалдашником, палочку, тихо прикоснулся ею к плечу его и что-то пробормотал себе под нос, точно молитву или заклинание, так быстро и невнятно, что, услышав только последние слова: «Во имя Женевской Республики...», Сервет понял, что лодка его не дожидается.

«Кто вы такой? чего вам нужно?» – спросил он и тотчас же, по грустной улыбке старичка, понял, что вопрос бесполезен. Ноги у него подкосились, но, вспомнив Бертелье, он немного ободрился и пошел как будто твердым шагом, куда повел его старичок. Идти было недалеко: тюрьма находилась в двух шагах от гостиницы.

«Если только он (Сервет) явится сюда в Женеву и власть моя здесь будет хотя что-нибудь значить, – я его отсюда живым не выпущу», – писал Кальвин Фарелю уже в 1546 году, за семь лет до сожжения Сервета. [335] «Я надеюсь, что Сервет будет осужден на смерть», – писал он тому же Фарелю 26 августа 1553 года, за два месяца до сожжения Сервета. [336]

Легким и простым казалось это дело Кальвину. Ближе сердцу его было дело Бертелье, потому что здесь, вместе с вопросом о власти Церкви над государством, решался и главный вопрос всей жизни Кальвина – о Царстве Божьем – Теократии. Дело Сервета казалось ему только религией, а дело Бертелье религией и политикой вместе. [337]

Так думал Кальвин в начале Серветова дела, но скоро понял, что это не так. Слух дошел до него, что в тайные переговоры с узником вступили не только вожди Либертинцев, но и члены Малого Совета, Ами Перрен и Бертелье. Сам начальник тюрьмы оказался Либертинцем, таким усердным в передаче вестей, что вынуждены были заменить его другим. «Некоторые знатные люди начали оказывать ему (Сервету) милость и укреплять его в преступных замыслах», – вспоминает секретарь Совета. [338]

22 августа Сервет обращается к судьям с ходатайством: «Я прошу, Монсеньеры, чтобы мой обвинитель (Кальвин) был наказан по закону равного возмездия, poena talionis, и заключен в тюрьму вместе со мной, пока не будет приговорен к смерти он или я» («Je demande que mon faux accusateur soit puni poena talionis et que soit detenu prisonnier comme moi jusqu'a ce que la cause soit definie par mort de lui ou de moi»). [339]

После этого ходатайства Кальвин понял, что в деле Сервета не только для него, Кальвина, но и для дела всей жизни его – Царства Божия – решается вопрос: быть или не быть? Это мог бы он понять и по таким обвинениям Сервета, как это: «кто поверит, что такой палач и убийца, как ты, – служитель Церкви Божьей?.. Или все еще надеешься собачьим лаем своим оглушить судей?.. Ты лжешь, ты лжешь, ты лжешь, изверг, чудовище!»[340] Имя найдено для Кальвина и уже не забудется: Чудовище.

«Я стоял перед ним так смиренно, как будто не он, а я был подсудимым... Боюсь, что меня могли бы обвинить в преступной слабости», – вспоминает Кальвин (*modestiam meam bonis omnibus probatum iri confido, nisi quod mollities notices videbitur*).[341]

Кажется, в эти дни произошел на суде теологический спор между Серветом и Кальвином. Если у него еще оставалось сомнение, созрел ли для огня «еретик», то, после этого спора, оно должно было рассеяться окончательно.

«С наглостью, доходившей до безумья, он утверждал, что Бог находится не только в камне и в дереве, но и в самих диаволах, потому что все полно Богом», – вспоминает Кальвин.

– Как, жалкий человек, – воскликнул я, – если бы кто-нибудь, ударив ногой по этому полу, сказал, что попирает Бога твоего, – ты и этому не ужаснулся бы?

– Нет, потому что я не сомневаюсь, что естеству Божью все причастно, – возразил он спокойно.

– И диаволы причастны? – спросил я.

– А ты в этом сомневаешься? – ответил он, смеясь.[342]

Вся детская душа Сервета – в этом вызывающем смехе перед лицом смерти.

Судьи обвиняют его в том, что он не верит в бессмертие души.

«Кто в это не верит, тот ни в Бога, ни в Его правосудие, ни в Воскресение мертвых – ни во что не верит. Если бы я чему-нибудь подобному учил, то сам себя осудил бы на смерть!» – ответил Сервет.[343] Видно по этому непониманию судей, как легко не понял его и Кальвин в том теологическом споре о вездесущии Божьем.

33

Видя, что задуманное ими восстание не удалось, Либертинцы поняли, что дело их проиграно, и покинули Сервета. Понял и он, что погиб: слишком близко кружил мотылек к пламени свечи, чтобы не сгореть.

В эти дни, когда бывший проездом в Женеве член Виеннского церковного суда вошел в Магистрат с ходатайством о выдаче Франции бежавшего оттуда еретика, Михаила Сервета, – судьи милостиво разрешили ему выбрать место суда – Женеву или Францию. Но, пав перед ними на колени, Сервет со слезами воскликнул: «Делайте со мной что хотите – только не выдавайте!» («Que Messieurs fissent de lui tout a qui leur plairait»).[344]

В правосудии отчаявшись, он все еще надеялся на милость палачей. «Великолепные Сеньоры, – пишет 22 сентября, – прошу вас смиренно освободить меня из тюрьмы, потому что сами вы видите, что Кальвин, не имея против меня никаких обвинений, хочет только сгноить меня в тюрьме. Вши меня заели... рубашка истлела на теле».[345]

Вместо ответа, только окна тюрьмы забили наглухо, как забивают крышку гроба над похороненным заживо. Но он продолжает стучаться в нее и вопить: «Вот уже три недели, как я прошу свидания с вами, Монсеньоры, и все не могу его получить. Ради Христа, не отказывайте мне в том, в чем вы и турку не отказали бы... Что же касается до того, что вы приказали держать меня в чистоте, то я сейчас в большей грязи, чем когда-либо... И немощи мои таковы, что мне стыдно о них писать... Сделайте же для меня хоть что-нибудь или из жалости, или по долгу!»[346]

21 сентября посланы были Женевскою Церковью Церквам четырех Кантонов –

Цюриха, Базеля, Берна и Шаффгаузена – вопросы о том, что делать с «ересиархом» Серветом. «Бог да подаст вам силу истребить эту чуму в вашей церкви», – ответил Берн; почти так же ответили и остальные Кантоны. [347]

«Брат мой возлюбленный, Церковь Господня будет навеки тебя благодарить за казнь этого богохульника... Только одному я удивляюсь – что находятся люди, смеющие тебя обвинять в излишней строгости», – ответит Кальвину, через год по сожжении Сервета, другой, такой же, как Буцер, «кротчайший из людей», Меланхтон. [348]

Близок был день приговора. Кальвин, узнав, что Сервет хочет видеть его, пошел в тюрьму. «Когда один из бывших со мною спросил его, что он имеет сказать мне, то он ответил, что хочет просить у меня прощения, – вспоминает Кальвин. – „Друг мой, я никакого зла на тебя не имею“, – сказал я ему так тихо и нежно, как только мог. „Вспомни, как шестнадцать лет назад, в Париже, я, с великой опасностью для моей собственной жизни, старался тебя спасти... Но ты тогда бежал от меня... И сколько лет потом я делал все, что мог, для твоего спасения, и всякое милосердие до конца истощил, а ты все больше на меня ожесточался... Но не будем обо мне говорить... Лучше подумай о том, как страшно ты богохульствовал, когда хотел уничтожить три Лица в Боге, говоря, будто бы те, кто верует в Отца, Сына и Духа Святого, измышляют трехглавого адского пса... Вспомни же об этом и помолись, чтобы Господь тебе простил...“»

«Так убеждал я его, но тщетно: он не ответил мне ни слова, и, видя упорство его, я поступил, как учит нас ап. Павел: „Еретика, после первого и второго вразумления, отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден“». [349]

Так, в совести Кальвина все в порядке – ясно и точно, как в математике. Бедный Сервет? Нет, бедный Кальвин – Чудовище!

34

26 октября 1553 года постановлен был приговор: «Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Так как ты, Михаил Сервет из Виллановы в королевстве Арагонском, в страшной хуле уличен на Пресвятую Троицу; так как ты назвал Ее дьяволом и трехглавым чудовищем и так как этими богохульствами, слишком ужасными, чтобы их повторять, ты человеческие души губил... то мы, Синдики и Судьи города Женевы, призванные Церковью Божией от таковой чумы охранять, постановляем: приведя тебя на Шампельское поле и привязав к столбу, вместе с богохульными книгами твоими, сжечь». [350]

«Я надеюсь, что Сервет будет осужден на смерть, но избавлен от лютой казни огнем», – писал Кальвин Фарелю еще 20 августа, а 26 октября: «Завтра Сервета казнят. Я пытался изменить род казни (костер), но тщетно». [351]

Утром 26 октября объявлено было Сервету, что приговор над ним будет исполнен на следующий день.

«Пусть шалуны не хвалятся упорством его, как твердостью мучеников, – пишет Кальвин. – Когда объявили ему приговор, он выказал только зверскую бесчувственность; то молчал в остолбенении... то вдруг начинал вопить, как одержимый, по-испански: „Милости! милости! (Miseri cordias!)“».

Самое страшное – ледяная жестокость в этом воспоминании Кальвина: хочет сжечь его, а раньше все-таки колет отравленной булавкой в этой насмешке над испанским языком в его предсмертном вопле. [352]

«Пав на колени, – вспоминает Фарель, – он закричал душераздирающим голосом: „Не огнем, не огнем, а мечом, чтобы души моей не погубить, доведя до отчаяния! Видит Бог, я согрешил по неведению, но всегда желал одного – прославить Бога!“» [353]

Может быть, другой свидетель вспоминает вернее: «Выслушав приговор, он сказал спокойно: „Смерти за такое праведное дело я не боюсь!“» [354]

«Будет великое чудо, если он (Сервет) умрет, покайся», – писал Кальвину Фарель и, чтобы совершить это чудо, приехал в Женеву («Ce sera, certes, un grand miracle, de voir Servet subir la mort dans un sincere esprit de

Мережковский Д. Кальвин filosoff.org
conversion»). [355] Кальвин – палач тела, а Фарель – души. Кажется, трудно превзойти Кальвина в жестокости, но Фарель это сделает. Кальвин страшен, а Фарель гнусен. Рыжий, зеленоглазый горбун, с чем-то красным, точно запекшаяся кровь, на губах, он похож на вурдалака. К жертве, как пиявка, прилип и уже до костра не отлипнет. На ухо все что-то шепчет Сервету, хотя тот его уже давно не слышит или не понимает.

35

В девять утра повели его на казнь. Кто видел его до тюрьмы, теперь не узнавал: белокурый, средних лет человек вошел в тюрьму, а вышел из нее седой, как будто семидесятилетний старик. [356]

Утро было ненастное; сеял мелкий дождь, как из сита. Улицы и площади, по которым двигалось шествие – отряд женевских стрелков, с Лейтенантом Суда на коне и Великим Глашатаем, – запружены были несметной толпой. Мертвая в ней тишина нарушалась только плачем детей и женщин да звоном кандалных колец на ногах осужденного.

Шествие, подойдя к ратуше, остановилось. Первый Синдик прочел с высокого помоста приговор. «Сын мой, покайся, отрекись, и тебя помилуют!» – шептал Фарель на ухо Сервету, но тот уже не слышал или не понимал. [357]

Шествие двинулось дальше, миновало Бур-де-Фурскую площадь, поднялось по улице Сэн-Антуан и вышло за город, на Шампельское поле, где разложен был костер на холме.

Увидев издали костер, Сервет остановился и, оглянув толпу, воскликнул так громко, что все услышали: «Видит Бог, я умираю невинно!» И потом, пав на колени, молился: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают!» [358] «Видите, братья, какую власть над человеком может взять Сатана!» – воскликнул Фарель, обращаясь к толпе и указывая на Сервета. «Этот человек был весьма учен и, может быть, думал, что хорошо делает, а теперь он – в руках Сатаны. Берегитесь же, чтобы не случилось того же и с каждым из вас! (Vidētis, quantas vires habeat Sathan, cum aliquem possidet. Nīc homo est doctus imprimis et fortasse se recte facere putavit, sed hunc possidetur a Diabolo, quod idem vobis accidere posset)». [359]

И потом, опять подойдя к Сервету, зашептал ему в ухо: «Сын мой, отрекись же, отрекись, и тебя простят!»

В эту минуту подошел палач и, взяв его за руку, повел на костер. Только внизу, в основании костра, были сухие еловые и сосновые поленья, а сверху – дубовые, с еще зелеными листьями, ветки. Дождь перестал, но мокрые ветки не могли зажечься сразу – это знали все, но для чего было сделано так, – не знали; одни уверяли: «из милосердия», – чтобы осужденный, задохшись от дыма прежде, чем пламя коснется его, меньше страдал; а другие говорили: «из жестокости», чтобы приговор Виеннского суда – «Сжечь на медленном огне» – исполнен был женевской Инквизицией лучше, нежели Римской, – не над мертвой куклой, а над живым человеком. [360]

«Слишком долго не мучай меня!» – сказал Сервет палачу, когда тот взвел его на костер, усадил на колоду, привязал к столбу железной цепью и раза четыре обмотанной вокруг шеи веревкой, на голову надел ему обсыпанный серой дубовый венок, навесил на грудь книгу «Восстановление христианства», а на шею, как мельничный жернов, – книгу о Троице, и начал зажигать костер.

Хворост вспыхнул сначала ярким пламенем снизу, но дым от наваленных сверху мокрых веток заглушил пламя. Видя это, люди из толпы, чтобы сократить муки его, начали носить и кидать в пламя охапки сухого хвороста.

«Отче, в руки Твои предаю дух мой! Иисус, вечный сын Бога, помилуй меня!» («Jesu, fili Dei aeterni, miserere mihi!») – воскликнул Сервет, глядя на медленно к нему подползавший огонь.

Мог сказать двояко: или «вечный Сын Бога», – утверждая Единосушие Сына Отцу, а значит, и Пресвятую Троицу; или: «Сын вечного Бога», – отвергая и то и другое. Только в этом и была вся разница двух исповеданий, за которую он взшел на костер. Как именно сказал, никто хорошенько не слышал или не помнил. Если не исповедовал Отцу Единосущного Сына, то повинен был смерти; если же исповедовал, то умер ни за что. [361]

Первый язык снова ярко вспыхнувшего пламени лизнул ему ноги, и он закричал таким нечеловеческим голосом, что вся толпа отшатнулась в ужасе.

«Около получаса длилась мука его, прежде чем он испустил последний вздох», – вспоминает очевидец («post di midiae circiter horae cruciatum expiravit»). [362]

«Иисус, вечный Сын Бога, помилуй меня!» – слышалось или почудилось многим в этом последнем вздохе.

Низко ползли темные тучи, быстро падали сумерки, и так же, как некогда с Лобного Места, молча расходилась толпа с Шампельского поля, где потухал костер.

И весь народ, сошедшийся на зрелище сие, возвращался, бия себя в грудь (Лука, 23:48).

Видеть сожжение Сервета Кальвин не хотел: слишком был «чувствителен». «Видя, как ведут его на казнь, он, закрыв лицо плащом, усмехался, – вспоминает кто-то из его врагов; – но это, конечно, злая клевета (sunt qui affirmant Calvinem, cum vidisset ad supplicium duci Servetum, subrisisse, vultu sub sinu vestis leviter dejecta)». [363] Может быть, из окна только нечаянно выглянув, увидел проходившее по улице шествие и, боясь, чтобы глаза его не встретились с глазами Сервета, быстро отошел от окна; или, сядя за столом в рабочей келье, обдумывал будущую книгу свою «О необходимости для принуждения еретиков власти меча»; или, пав на колени, молился «упокой души раба Божия, Михаила». [364]

«Пусть шалуны не хвалятся, что он – мученик», – вспомнил может быть, вдруг и почувствовал, что один волосок отделяет его от ужасающей мысли: «А что, если он, Сервет, действительно мученик, а я – палач? Что, если он – оправданный, спасенный по Предопределению, а я – осужденный, погибший?» Но если такая мысль и промелькнула в уме его, то на сердце никакого следа не оставила потому что он верил, что сжег Сервета «во славу Божию».

36

«Из пепла Сервета вспыхнул тотчас же новый огонь а именно вопрос о том, можно ли казнить еретиков», – скажет Бэза не подозревая, как эти слова его убийственны для Кальвина. [365] Но тот мог бы в этом и сам убедиться, когда не только бесчисленное множество учеников Сервета прославило его как «св. Мученика», но на него, на Кальвина, ближайшие ученики восстали в этом деле. «Я должен признаться, – пишет ему один из них, – что принадлежу к числу тех кто считает нужным употребление меча против заблуждающихся в вере только в самых крайних случаях». [366]

В 1554 году, когда появилась книга Кальвина «О заблуждениях Сервета», он, может быть, почувствовал с особенной ясностью это убийственное согласие восставших на него друзей и врагов. «Многие обвиняют меня в лютой жестокости за то, что я хочу будто бы уже раз убитого мной человека снова убить, – жалуется он и спешит прибавить: – я не только не забочусь об их рукоплесканиях, но радуюсь, когда они плюют мне в лицо». [367] Это легко сказать о врагах, но о друзьях – не так-то легко.

Главное оправдание Кальвина, не только в те дни, но и в наши, – так называемый «дух времени», которым, будто бы, тогда оправдывалось в делах веры всякое насилие. [368] Но в книге, появившейся под вымышленным именем «Мартина Белиуса» и составленной, вероятно, одним из ближайших учеников и друзей Кальвина, Себастианом Каstellлио, собраны были слова не только Св. Писания и великих учителей Церкви, но и самого Кальвина из его «Установления христианства», против смертной казни еретиков. Здесь уже восстает на него и «дух времени», да он и сам на себя восстает когда говорит: «Нам (протестантам) не следует подражать их (католическому) бешенству в казни еретиков». [369] «Наша цель – оказывать великое милосердие еретикам», – говорит Торквемада. [370] «Там, где нет милости, Церковь – ад», – говорит Кальвин. [371] «От слов своих оправдаешься, и осудишься». Страшный приговор этого суда лучше всего произносит Каstellлио, говоря о казни Сервета: «кто не подумал бы, что Христос – Молох или другой подобный, жертв человеческих требующий, бог?» [372] «Вором» называет Кальвин Каstellлио, чтобы за этот приговор ему отомстить: «Когда ты из реки вылавливал бревна, не крал ли ты чужое добро?» «Я тебя хорошо знаю, но никогда не поверю, что

ты этому веришь», – отвечает ему Кастеллио.[373] Трудно не вспомнить Вольтера: «Павшего врага Кальвин оскорблял, как это делают все подлцы у власти» («Calvin vit son ennemi aux fers, il lui prodigua les injures et les mauvais traitements, ainsi que font les laches quand ils sont maîtres»).[374] Но главного все-таки Вольтер не понял – что в этом деле не нравственный, а религиозный суд, бесконечно более глубокий и страшный для Кальвина, действителен.

Лютер, в противоположность Кальвину, выше Нечистого Духа времени. «Духу Святому противно сжигать еретиков» – этого Лютерова тезиса, во всей полноте его, никто в протестантстве не понял.[375] «Что такое свобода совести? – спрашивает Бэза и отвечает: – Дьявольский догмат (libertas conscientiae diabolica dogma)».[376] Всех защитников свободы жгли так же, как сожгли Сервета, и ни одна из Церквей на это не восставала, потому что это было «в духе времени». «Кальвин спас Европу тем, что сжег Сервета», – скажет Мишле тоже «в духе времени», уже не в XVI, а в XIX веке.[377]

В 1553 году Фарель, ведя Сервета на казнь за действительную или мнимую хулу на Пресвятую Троицу, мог бы вспомнить, как двадцать лет назад он сам был обвинен в непризнании Единосущия Сына Отцу, а значит, и в хуле на Троицу, и как его учитель, Кальвин, обвинен был в том же.[378] «Он бесстыдно извращает слова Писания о Троице», – скажет о нем через сорок лет один протестантский богослов. «Кто не видит, что сам диавол хочет этим тараном (Кальвином) разрушить стены, ограждающие Пресвятую Троицу?»[379] Все это и значит: явный и временный суд над Серветом есть тайный и вечный суд над Кальвином.

«О, если бы мы могли слезами потушить этот костер!» – скажет в XVIII веке один из верных учеников Кальвина (il serait a souhaiter que nos larmes eussent pu eteindre le bucher de cet infortune).[380]

Нет, не горячие слезы веры потушат костер Сервета, а холодная усмешка сомнения:

Вот сколь великому злу вера в богов научила.
Tantum religio potuit suadere malorum.

Мы уже еретиков не жжем, но это еще вовсе не значит, что мы милосерднее тех, кто жег, а значит только, что причины и цели жестокости нашей переместились, но, может быть, сама она не уменьшилась, а увеличилась. Чтобы в этом убедиться, стоит лишь вспомнить Великую Войну.

В 1903 году воздвигнут был на Шампельском поле, там, где сожжен Сервет, «искупительный памятник» с надписью:

Мы, почтительные и благодарные дети Кальвина, отвергая ошибку его, которая была ошибкой тех дней... воздвигли ему этот искупительный памятник (...fils respectueux et reconnaissants de Calvin...

mais).[381]

Это значит: Сервет был сожжен «по ошибке». Но не точно ли так же распят был и Христос и все еще распинается и будет распинаться до конца времени? «Будет Иисус в агонии до конца мира; в это время не должно спать», по слову Паскаля,[382] и по слову Лютера: «Всюду, где страдает человек, страдает в нем Иисус».[383] Если так, то на костре Сервета сожжен был Кальвином сам Иисус.

Кальвин хотел основать Царство Божие на крови Сервета так же, как древние капища Молоха на крови человеческих жертв основаны.

37

Выборы 1555 года, где все четыре новых Синдика оказались друзьями Кальвина, были первой победой его над Либертинцами. Видя, что им нечего терять, решились они на последнюю, отчаянную попытку восстания.

Старый вождь либертинцев, Ами Перрен, в Пренийской усадьбе (Pregny) всю ночь на 15 мая угощал друзей своих, заговорщиков. «Помните же, друзья: все, что мы делаем, да будет во славу Божию!» – говорит он, вставая из-за стола.

«Да будет так!» – отвечают пьяные гости и, шатаясь, идут на Сэн-Жервезскую

Мережковский Д. Кальвин filosoff.org

площадь бунтовать народ. Подойдя к одному из домов, стучатся в дверь и, не получая ответа, хотят ее выломать. Две головы в ночных колпаках появляются в окнах. «Что вы стучите? Чего вам нужно?» – спрашивает сонный голос.

Пьяные что-то бормочут себе под нос, но так как сами не знают, чего им нужно, расходятся спать по домам. [384] А на следующую ночь раздаются по всем женевским площадям и улицам крики беснующейся черни: «В Рону, в Рону! Бей, топи французов-изменников!»

Но бунт и в эту ночь также ничем не кончается, как в прошлую. Мирно спят французы в домах своих, а когда утром узнают о бунте, то их спасение кажется им «чудом Божиим». [385]

Двое лодочников, братья компареты (Comparet), схвачены, пытаны и приговорены к смерти.

«Я не сомневаюсь, что лезвие топора соскользнуло с шеи обоих злодеев по особому промыслу Божьему, чтобы смертная мука их продлилась» – эти страшные слова Кальвина богохульнее, чем слова Сервета о «трехглавом Цербере», и если вообще кого-либо следует за богохульство жечь, то слишком ясно, кого, – Сервета или Кальвина (*je suis certainement persuade que ce n'est pas sans un special jugement de Dieu qu'ils ont tous deux subi, en dehors du verdict des juges, un long tourment sous la main du bourreau*). [386]

После казни тела обоих братьев, по приговору суда, четвертованы для того, чтобы одну из их четырех частей прибить к позорному столбу за Корнавенскими воротами, так чтобы все въезжающие в город знали, что их ожидает в случае непослушания слову Божьему или слову Кальвина. Когда зловещее шествие с жалкими останками проходило мимо той самой Пренийской усадьбы, где наемни Перрен поил гостей своих – в том числе и двух братьев Компаретов, – вдруг, откуда ни возьмись, выскочила «амазонка Пентезилая», «сверхъестественная Фурия», госпожа Ами Перрен, и закричала неистово: «Ах вы злодеи, убийцы, разбойники, Евангелисты дьявола, предавшие город наш французам-изменникам!»

А когда увидела конного глашатая, с завернутой в полотно, ужасной частью человеческой туши, то закричала еще неистовей: «А ты, вшивый негодяй, все еще на коне! Вот ужо, погоди, спешим тебя, и в первой канаве подохнешь, как пес!»

И, ускакав, исчезла так же внезапно, как появилась, точно видение. Долго они смотрели ей вслед, чувствуя такое облегчение, оттого что им в лицо была сказана правда, какое могли бы чувствовать почти задохшиеся люди, если бы вдруг приоткрылось окно и они вздохнули бы полною грудью. [387]

15 сентября 1555 года казнен был на Шампельском поле тот самый Бертелье, который три года назад, почти в самый канун Серветова дела, поднял опаснейший для Кальвина бунт. «Если бы я умер в постели, то был бы осужден наверное, а теперь, может быть, спасусь», – сказал Бертелье, всходя на плаху. [388]

38

Город Женева в те дни – «Город плачевный» – ад (*Inf., III, 1: per me siva malle citta dolente*). [389] Кальвин – палач, в каком застенке – Божеском или дьявольском – этого он, может быть, и сам иногда не знает.

Выкачан весь кислород из воздуха, и люди медленно задыхаются в нем, как в «пробковой комнате». Надо углубиться во все мелочи жизни, чтобы понять, как задыхаются.

Стоя у церковной кафедры, с которой Кальвин проповедует, сыщики наблюдают, как люди слушают проповедь. Двое схвачены за то, что усмехнулись, когда кто-то, заснув, упал со скамьи, а двое других – за то, что нюхали табак. Кто-то посажен в тюрьму за то, что сказал: «Церковь, слава Богу, не вся еще за пазушкой у мэтра Кальвина! (*Il ne faut pas croire que l'Eglise soit rendue a la ceinture de Maitre Calvin!*)». [390] Схвачен Робер токарь за то, что говорил: «Первородный грех – не от Адама и не от дьявола, а от самого человека». [391]

Старую женщину едва не сожгли, как ведьму, за то, что она слишком долго и пристально глядела на Кальвина: «Как бы не сглазила». А молодую – присудили

Мережковский Д. Кальвин filosoff.org
к вечному изгнанию за то, что она сказала, выходя из церкви: «Будет с нас и того, что Иисус Христос проповедовал!»[392]

Кто-то сказал во время сильной грозы: «Ладно, греми, греми, а мы все-таки в поле пойдем, и ничего нам не будет!»

За это сначала хотели его обезглавить, а потом, наказав плетью, изгнали.[393]

Двое детей, съевших на церковной паперти, во время проповеди, «сладких пирожков на два флорина», высечены розгами, а маленький мальчик, ударивший мать свою, казнен смертью.[394] Людей хватили за лишнее блюдо, кроме двух, разрешенных по закону, – мяса и овощей; за чтение Амадиса Галльского; за модные туфли с разрезами и дутые на плечах и локтях рукава; за слишком искусное плетение женских волос, которым «Бог поруган в высшей степени» (*grandement offense*); за один косой взгляд на француза-изгнанника; за катанье на коньках, за то, что люди плясали или только смотрели, как другие пляшут;[395] за то, что пахарь в поле обругал ленивых волов своих «рогатыми», что значит «диаволы», хотя сам Кальвин говорил с церковной кафедры людям: «Вы хуже скотов!»[396]

Кажется, еще немного, и людей хватили бы за то, что дышат не так, как угодно Кальвину. Этот больной, в чьих жилах течет не красная, теплая кровь, а ледяная, зеленая вода Леты, – самодержавный владыка жизни и смерти тысяч людей.

«Лучше с дьяволом в аду, чем с Кальвином в раю!» – шептали в ужасе люди.[397] «Если не будет в нас радости земной, то мы не войдем и в Царство Небесное». – «Дал ли бы Господь такое благоухание цветам, если бы не желал, чтобы мы ими наслаждались?» – учит Кальвин.[398] Но все цветы земли вянут от одного взгляда «Черного француза», и со всей плотью мира происходит то же, что с неисцелимо больной Иделеттой.

«Люди должны смеяться вовсю» («*qu'on rie a pleine bouche*»), – учит Кальвин.[399] Но слишком болезненная чувствительность его не выносит громкого смеха. Люди могут веселиться, смеяться, но так, чтобы не разбудить в темном углу их тюрьмы неземного, нежного Чудовища, исполинского Крестового Паука.

Вся Женева, как тюремная больница, и робкое веселье в ней, как больничная пища. Это дозволенное до какой-то черты веселье больных невыносимо для здоровых: лучше совсем не улыбаться, чем смеяться не вовсю. «Сверхъестественная фурия», госпожа Ами Перрен, которая пляшет, смеется вовсю, – ближе к Брачному Пирю – Царству Божию, чем жалобно улыбающийся, смертельно больной Кальвин.

За восемь дней до смерти он велит перенести себя в большую столовую, где собираются к нему на ужин все женеvские проповедники.

«Братья, это моя последняя трапеза с вами, – скажет он со слезами на глазах и будет стараться из последних сил развеселить гостей, а потом, велев унести себя, скажет: – Между нами будет стена, но она не помешает мне быть соединенным с вами в радости! (*Je viens vous voir pour la dernière fois, car hors ce coup je n'entrerai jamais a table... Vue paroi entre deux n'empêchera point que je sois conjoint d'esprit avec vous*)».[400]

Кальвин, благословляющий плоть мира, – умирающий на пиру жизни больной; всех живых, здоровых, пирующих заражает он своей смертельной болезнью. А эта, весь мир от него отделяющая «стена», есть тайна Предопределения – «ужасный Приговор» (*Decretum horribile*).

39

В следующие девять лет, между 1555 и 1564 годом, совершается чудо всемирной истории – превращение Женеvы из Города Плачевного в Город Блаженный – в то место, где происходит одна из первых попыток осуществить не только на небе, но и на земле, Царство Божие.

Что такое Женева? Маленький город – большое селение, отовсюду окруженное врагами, беззащитное, потому что находящееся на берегу озера, почти без стен и так близко от французской границы, что в полчаса король Франции

Мережковский Д. Кальвин filosoff.org
может быть в городе. Герцог Савойский и бывший Женевский епископ, и даже Берн, бывший союзник, раздувая в городе пламя междоусобий, только выжидают случая, чтобы кинуться на Женеву и ее поработить.[401] Вся ее надежда спастись – «беглый французишка», всеми ненавидимый, презренный, оплеванный, смертельно больной человек – тот, на кого уличные мальчишки натравливают псов.[402] Он-то и спасет Женеву? Нет, не он, а Царь царствующих и Господь господствующих, огненной стеною ограждающий свой Город возлюбленный – сошедший с неба на землю, Новый Сион.

Богу Единому слава,
Solī Deo gloria, –
будет начертано на вратах уже не Плачевного, а Блаженного Города.

«Вы – род избранный, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет... Ибо вы были, как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к Пастырю и Блустителю душ ваших» (1-е Петра, 2:9, 25). Это Кальвин первый скажет и сделает так, что все это услышат и увидят в подобном чуде всемирно-историческом действии. Вся Европа, все человечество, преображенное в Царство Божие, – эта мечта Кальвина не осуществится, но уже и то, что была такая мечта на земле, есть, может быть, к Царству Божию первый шаг.

Все гонимые люди Новой Веры, все, «настоящего Града не имеющие, грядущего Града взыскающие», собираются отовсюду – из Франции, Англии, Голландии, Италии, Испании – в Женеву и, падая на колени перед городскими воротами и целуя эту чужую землю, как родную, плачут от радости.[403] Точно вся кровь великого тела – христианского человечества – приливает к высокому сердцу Европы – Женеве – и с каждым биением своим оно говорит всем племенам и народам земли:

Горе имеем сердца!
Sursum corda!

В 1555 году, тотчас после первой победы Кальвина над Либертинцами, король Франции отдает приказ герцогу де Гизу напасть на Женеву, и в то же время главный военачальник ее, Ами Перрен, искусно распространяет по городу слух, что французские изгнанники вступили в переговоры с королем, чтобы предать ему город. Но герцог де Гиз умирает внезапно, и все это дело ничем не кончается.[404] А в 1558 году Генрих Второй, король Франции, заключает союз с Филиппом Вторым, королем Испании, чтобы овладеть Женевой. Город – на волосок от гибели. Граждане всех званий и возрастов – духовные лица и светские, простые и знатные, старики, дети и женщины – с кирками и лопатами возводят городские стены и углубляют рвы. Между ними работает и Кальвин, полубольной. Но суд Божий совершается над Генрихом: он убит на рыцарском турнире, и все дело опять ничем не кончается. Снова огненной стеною оградил Господь свой Город возлюбленный.[405]

В том же году Кальвин, исполняя давнюю мечту свою, основал Женевский университет. Так же, как только что, работая с киркой и лопатой, строил военные укрепления Женевы, – он строит теперь эту новую твердыню духа. «Страх Господень – начало премудрости» – будет начертано над входом в здание. «Чтобы привлечь как можно больше учеников и содержать их в наилучшем здравии, будет оно воздвигнуто лицом к озеру, под теплыми ветрами с полдня и свежими – с запада».[406] Две тысячи слушателей соберутся в него со всех концов мира уже в самый год основания.[407] «Это совершеннейшая на земле, от времен апостольских, школа Христа», – скажет о нем великий шотландский реформатор, Джон Нокс.[408]

В те же дни установлено особое в женевских церквях богослужение, где всякий верующий может проповедовать так, что проповедь становится беседой, в которой задаются вопросы и получают ответы на самые тайные сомнения, и новая свобода воцаряется там, где было некогда рабство.[409]

В 1559 году в день Рождества Христова, кто-то в Малом Совете вдруг вспомнил, что все учителя и проповедники – женевские граждане, кроме величайшего из них, Кальвина. Двадцать лет трудился он для своего второго отечества, душу ему отдавал, и вот, все еще – такой же безымянный «француз», ille Gallus, каким в него вошел. «Да будет предложено мэтру Кальвину сделаться Женевским гражданином», – единодушно постановлено в Малом Совете. «Да не посетуют на меня высокочтимые Сеньоры за то, что я сам уже давно их о том не просил», – отвечает Кальвин.[410] Так делается он гражданином двух городов – Града Человеческого и Града Божия вместе. Будет

Женевская церковь новым «ковчегом на великих водах потопа», – по слову Кальвина.[411] Мученики двух тысяч Церквей по всему лицу христианского мира, от берегов Атлантического океана до Китая и Бразилии, кровью своей запечатлеют новое исповедание Женевской Церкви: «Да не будет на земле власти иной, кроме Бога, Царя царствующих и Господа господствующих». Все они засвидетельствуют перед Богом и людьми, что такое Кальвин – чудо или чудовище, свет или тьма, потому что сумеречно-двойственного в нем, «демонического», «радийного», они не поймут никогда. Но те, кто мог это понять, должны взглянуться пристальней во внешнее и внутреннее лицо его, или, точнее, в то, как внешнее лицо его относится к внутреннему, – чтобы понять, как он жил и что он сделал, а главное, чем он был, – чудом или чудовищем, – только ли великим грешником или также великим святым.

40

Как ни сказочен, призрачен образ Кальвина на единственном, кажется, исторически подлинном портрете его в Женевской Библиотеке, но, может быть, в тайну лица его он глубже всего проникает. Ужас Предопределения – в трупно-зеленой бледности этого лица, а на красных, точно свежей, только что высосанной кровью запачканных губах Вампира – запекшаяся кровь Михаила Сервета, Жака Грюэ, братьев Компаретов и скольких еще замученных жертв.[412] Но, судя по другому, мало известному, резанному на дереве, портрету Кальвина, он жилист, костляв, сух, – кожа да кости, но крепок – Кощей Бессмертный – кремень. «Худенькое тельце твое скорее знак, чем тело», – говорит ему один из друзей (*ton petit corps est un signe plutôt qu'un corps*).[413] Семь смертельных болезней гложут, гложут его и все не могут изглодать. «Мое здоровье – вечная смерть, – говорит он, в сорок лет, и в те же годы. – Я все еще молодой человек (*ma sante est une mort perpetuelle... combien que je sois jeune homme*)». [414] Это соединение старости с молодостью, может быть, самое страшное в нем, потому что кажется нездешним, сверхъестественным. Слишком понятно, что не только взрослые пугаются, но и маленькие дети плачут от страха, завидев на улице этот движущийся, желтой кожей обтянутый скелет в черном длинном плаще-таларе женевских проповедников, в плоском берете черного бархата, с длинной, узкой, черной, как будто приклеенной к щекам бородой и с глазами, горящими, как вставленные в пустые глазницы раскаленные угли.[415] мимо людей он проходит, не глядя на них и низко опустив голову, как будто стыдясь чего-то: так, может быть, выходцы с того света перед живыми людьми самих себя стыдятся.

Главное впечатление от этих двух лиц, призрачного и действительного, – тишина, но где-то в их самой тайной глубине, а на поверхности – буря. «Часто я бываю увлекаем такою бурей гнева, что не могу ей противиться. Но, по справедливости, не должно бы меня обвинять в том, что я делаю неволью (*multis turbinibus invalvor*)». [416] «Больше всего я вам благодарен, досточтимые Сеньоры, за то, что вы всегда терпели так кротко мою безумную вспыльчивость», – скажет он, умирая. «Этот мой грех я от всей души ненавижу, так же, как и все остальные, но твердо надеюсь, что Господь мне его простит». «Ни один из многих и великих грехов моих не стоил мне такой тяжелой борьбы, как вспыльчивость. Благодарю Бога за то, что мои усилия не были совсем тщетны, но все же этого дикого зверя я еще не вполне в себе укротил», – говорит он и в середине жизни.[417] «Я вырвался из себя самого, как бешеный конь из-под всадника (*je me suis echarpe a moi-meme*)». [418]

«Я всегда прощал и забывал тягчайшие обиды врагов моих и могу сказать по совести, что, как бы безбожные люди ни оскорбляли меня, – нет у меня во всем мире ни одного личного врага». [419] когда какая-то женщина назвала его почти в лицо «злыдней» и была за это предана суду, он за нее вступился и ходатайствовал об ее помиловании. [420] Много ли было таких случаев, трудно сказать, но слишком часто он отождествлял не только свое учение, но и себя самого с Богом. «Бога они в моем лице оскорбляют». – «Там, где о чести Бога моего дело идет, я предпочитаю бешеный гнев никакому». [421]

Кто-то из членов Консистории назвал его «лицемером», и он тотчас потребовал, чтобы обидчик был предан суду, а несколько человек, смеявшихся во время проповеди его, посажены были в тюрьму. Таких случаев за один только год – больше трехсот. [422]

«Надо делать людям добро вопреки их воле (*il faut procurer leur bien malgre qu'ils en ayent*)». [423] Это опасное правило приводит его нечувствительно к оправданию пыток. «Пытка» и «допрос», *quaestio*, так же неразличимы на

словах, как на деле. «Что касается пытки, то, по достоверным свидетельствам, вся она сводилась к тому, что пытаемых приподымали от земли, подвесив их за руки». [424] Кальвин ссылается на «достоверные свидетельства», потому что сам он слишком «чувствителен», чтобы смотреть на пытки, и умалчивает о том, что у вздернутых на дыбу вывихнутые суставы трещат.

«Ты знаешь нежность, чтобы не сказать „слабость“, моей души», – говорит он одному из друзей своих. [425] «Когда я вспоминаю о его любви ко мне... я не могу не чувствовать, что потерял в нем больше чем друга – как бы родного отца», – вспоминает Бэза.

В 1541 году в Страсбурге умер от чумы любимый ученик Кальвина, Луи де Ришбур (Richebourg). «Смертью вашего сына я был так потрясен, – пишет он отцу его, – что несколько дней ничего не мог делать, как только плакать и рыдать, и хотя перед Богом меня еще укрепляла сила Его, но перед людьми я был, как ничто, и для всех предстоявших мне дел, как полумертвец... потому что этого прекраснейшего юношу, погибшего во цвете лет, я любил, как родное дитя». [426] Так люди не лгут, и если Кальвин действительно чувствовал так, то еще неизвестно, что перевесит в последнем Божьем суде над ним – зло или добро.

41

Высшего сияния достигает эта красота внутреннего лица его в том, что он называет «святою дружбою (sancta amicitia)». [427]

Тот, кто был ему другом однажды, остается им навсегда. Дом его на улице Каноников окружен множеством этих вечных друзей, потому что все они хотят жить поближе к нему. [428] «Кальвина, за несколько дней до смерти его, посетила благородная дама из одного прекрасного города Франции, слышавшая проповедь его лет тридцать назад; посетил его также один почтенный старик, бывший другом его в годы учения и не видевший его после изгнания из Франции». Оба они хотели его увидеть еще раз перед тем, как умереть, и «он пригласил их к ужину, чтобы порадоваться с ними в ожидании воли Божьей». [429]

Тот самый Меланхтон, которому последние годы жизни его с Лютером кажутся несносной тюрьмой, только одного желает – «склонить на грудь Кальвина усталую голову, чтобы на ней умереть». [430] «О, если бы нам с тобой умереть в один и тот же самый день, чтобы друг о друге не плакать и тотчас же встретиться снова в небесном отечестве!» – пишет Кальвин одному из друзей своих, и другому: «Если бы Господь разрушил землю, чтобы установить на ней Царство свое, то мы с тобой и там были бы вместе, потому что узлы дружбы нашей так святы, что разорвать их ничто не может». [431]

«Неземная любовь» у других, а у Кальвина – «дружба неземная».

«Даруй нам, Боже, смирение, да послужим Тебе, по воле Твоей, как открыл нам Твой Сын Единородный!» – молится он в жизни, и скажет в смерти: «Все, что я сделал, ничего не стоит (tout ce que j'ai fait n'a rien valu). Я знаю, что злые люди обратят эти слова мои против меня, но я повторю еще раз: все, что я сделал, ничего не стоит, и я – только жалкая тварь. Одно могу сказать: я всегда желал добра и ненавидел пороки мои, и корень страха Божия всегда был в сердце моем». [432] Если пред лицом смерти люди не лгут, то опять неизвестно, что перевесит в последнем Божьем суде над Кальвином – зло или добро.

Нечеловеческий труд его – шестьдесят две книги в восьмую долю листа, около сорока тысяч печатных страниц, и двести восемьдесят шесть проповедей, сто восемьдесят шесть университетских лекций в год. [433] «Спал он очень мало, – вспоминает Бэза, – и как бы ни уставал, всегда готов был к работе. Даже в те дни, когда не проповедовал, приказывал, лежа в постели, приносить себе книги, с пяти часов утра, и диктовал; а когда проповедовал, то, вернувшись из церкви домой, ложился в постель, клал себе на живот припарки и снова диктовал. Так сочинил он почти все свои книги, и этот труд был для него блаженством». Но сам он считал его «праздностью». «Весь в жару лихорадки и в несказанной слабости, он все еще работал и говорил, что праздности своей стыдится», – вспоминает тот же Бэза. «Я со стыдом читаю похвалы моему трудолюбию, потому что я слишком хорошо знаю, как я ленив и празден». [434]

От преждевременных родов 1547 года Иделетта уже не могла оправиться и в течение двух лет медленно умирала на глазах у Кальвина, тоже смертельно больного.

«Бог Авраама и отцов наших, сколько веков люди на Тебя надеялись и не были постыжены! Надеюсь и я», – шептала она невнятно свою любимую молитву перед смертью. Больше Христа был для нее Авраам, а больше Авраама, может быть, Кальвин. [435]

Вечером 29 марта 1549 года началась ее агония. Кальвин должен был покинуть ее, чтобы посетить других умирающих, а когда вернулся к ней, она уже не узнала его. В восемь часов отошла так тихо, что никто не заметил ее последнего вдоха. [436]

Если душа Кальвина – всегда обнаженная рана, то это горе было для него как прикосновение горящего угля к ране. Но видно по его несокрушимой твердости в нем, что он – один из самых мужественных людей, какие только были и будут в мире.

42

Два великих книжника, Умственника, «Интеллигента», по-нашему: первый – св. Августин, второй – Кальвин, отец бесчисленно расплодившегося и весь мир наполняющего племени нынешних «интеллигентов». Самое глубокое, детьми от отца унаследованное свойство их – отвлеченность, умственность – преобладание «металлического», мертвого, над живым, «растительным». Мету этой отвлеченности лучше всего дает отношение Кальвина к детству. Что такое для него дети? «Маленькие кучи грязи (*des petites ordures*)». [437]

Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное (Матфей, 18:3) – что это значит, меньше всего понял Кальвин.

В 1530 году появилась книга Коперника о круговращении Земли. За тридцать лет Кальвин не удосужился ее прочесть. «Небо вокруг Земли вращается», – пишет он в последнем издании, «Установления христианства». [438] В звездах на небе так же ничего не понял, как в детях на земле.

Чтобы почувствовать преобладание «металлического», мертвого, над живым, «растительным», в Кальвине, стоит только заглянуть в главную и, в сущности, единственную книгу его, «Установление христианства».

«Я в моих писаниях обладаю сжатою краткостью и остаюсь всегда твердым в выражении того, что хочу выразить», – хвалится он (*en mes ecrits j'ai une brievete restreinte et demeure toujours bien ferme et arrete a traiter le point que j'ai une fois pris en mains*). [439] «Я, по моей природе, довольно склонен к поэзии (*je suis d'un naturel assez porte a la poesie*)». [440] В этом он ошибается. Но у него есть то, что, может быть, не хуже красоты и не меньше поэзии, – сила. «Царственная краткость» (*imperatoria brevitatis*) – главный признак этой силы. Та же красота у него, как у Левиафана чудовища:

Не умолчу о... силе его и красоте... Крепкие щиты его – великолепие... один с другим, лежат плотно, не раздвигаются... На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас... Нет на земле подобного ему... Он – царь над всеми сынами гордости (Иов, 41, 4 – 26). Но вся эта красота и сила Кальвина напоминают иногда страшный «металлический сон» великого «городского поэта» наших дней:

Сон мой был полон чудес,
потому что, по прихоти странной,
я изгнал из него навсегда
все живое, растущее,
и упивался лишь камня, металла, воды
опьяняющим однообразием...
И все – даже черный цвет –
было ярким, сверкающим, радужным;
и воды заключали славу свою
в луче, затвердевшем в кристалл...
И не было ни одного светила,
ни солнца, даже на краю небес,
чтобы эти чудеса озарять,

лишь внутренним светом сиявшие,
И над всем их движением царила, –
новизна ужасающая, –
все для зренья, для слуха ничто, –
тишина бесконечная.
Бодлер. «Парижский сон». Цветы зла.
(Ch. Baudelaire. *Fleurs du mal*, CII. *Reve parisien*).
«Вечно-женственного» Кальвин, «умственник» так же не понимает, как
«Вечно-детского».

Долго не хочет верить, что гнусный, рыжий, горбун, восьмидесятилетний Фарель, женился на восемнадцатилетней девушке, а когда, наконец, поверил, то «онемел от удивления». «Года еще не прошло, как он мне сам говорил, что надо быть дураком, чтобы жениться в такой старости на молоденькой девушке». [441] А года через два Кальвин узнал, что невестка его, жена брата Антуана, десять лет бесчестила дом его прелюбодеянием с таким гнусным горбуном, как фарель. В городе знали об этом все, кроме Кальвина. Когда же, наконец, узнал и он, застав любовников на месте преступления, то онемел от удивления, еще большего, чем при известии о женитьбе фареля. [442] Может быть, на одно мгновение открылись у него глаза, и он вдруг увидел, как при блеске молнии, целую половину мира, которой никогда раньше не видел. Но молния потухла, и он снова ослеп, – впрочем, не совсем, потому что каким-то вторым, «ночным зрением», видел всегда и ту, для его «дневного зренья», невидимую, половину мира, и еще потому, что он – слепой, отвлеченный «интеллигент», «умственник», только в одной половине существа своего, а в другой – великий «реалист» – деятель.

«Должно учиться не мыслить, а жить». «Если тех, кто слушает меня, я не учу действовать, то я – богохульник» (*il s'agit d'apprendre non a deviser, mais a vivre – comment. II Timoth. 3, 16: «Si je ne procure pas l'edification a ceux qui m'ecoutent, je suis sacrilege»*). [443] Только для отвлеченного «умственника» вся плоть мира ничтожна или презренна, а для жизненного деятеля та же плоть свята.

Кальвин издает строжайшие законы о рыночных ценах на хлеб, дерево, уголь, овощи, мясо и рыбу; и о том, чтобы все испорченные припасы немедленно выкидывались в Рону; и о проведении водосточных труб. Требует с церковной кафедры очистки «таких мест, о каких говорить непристойно» (*de la propreté des latrines et de ces choses même dont il n'est pas honnête de parler*). [444] Строит великолепные больницы, странноприимные дома и богадельни. Основывает шерстяной и шелковый промысел – будущее богатство Женевы.

«Меньше всего мы видим то, что у нас под носом, – пишет он Магистрату. – Так как почти все окна в Женеве без перил и ставен, то маленькие дети, то и дело падая из окон, разбиваются до смерти». И, по настоянию Кальвина, объявляется торжественно, под трубный звук, Великим Глашатаем новый закон, чтобы все окна женовских домов снабжены были перилами и ставнями. [445] Может быть, в эту минуту, маленькие дети кажутся ему уже не «маленькими кучками грязи», а чистейшим и драгоценнейшим из всего, что есть в мире.

После невылазной грязи и удушливого смрада городов – особенно таких больших, древних и почтенных, как Рим, Лондон, Париж, – путник входил в новую, чистую Женеву, в самом деле, как в «Царство Божие», и запах снега, веявший от Мон-Бланских ледников, был для него как бы запахом этого Царства. Город будущего, где люди заживут впервые не по-свински, в собственном смраде задыхаясь, а в чистоте, – вот что такое город Кальвина, Св. Женева.

Люди пятнадцать веков, как забыли, что значит «мыться»; Кальвин им это напомнил, и впервые снова «омылись» они – «крестились», потому что первый и глубокий смысл этого слова именно таков: «креститься» значит – «омыться», «очиститься».

43

«Там, где Бог является людям во всем величии своем, – самые гордые падают во прах, объятые смертным ужасом», – учит Кальвин. «Мы должны умереть, потому что увидели Бога», – говорили чада Израиля. [446]

Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем; не ко тьме,

Мережковский Д. Кальвин filosoff.org
мраку и буре; не к трубному звуку и гласу глаголов, который слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово, ибо не могли они выдержать того, что было им заповедуемо: «Если и зверь прикоснется к Горе, да будет побит камнями... (или поражен стрелой)». И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «Я в страхе и трепете». Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога Живого, к Небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, к торжествующему Собору и Церкви Первенцев, написанных на небесах, и ко Судии всех, Богу (Евреям, 12:18–23).
Таков религиозный опыт Кальвина: Новым Заветом начинается он, а кончается Ветхим. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков; не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не пройдет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не пройдет из закона» (Матфей, 5:17–18). Что это значит, Кальвин понял, как никто. «Все, что людям нужно знать для совершенной жизни, Господь заключил в Законе так, что им прибавлять к нему ничего не остается». «Будем же во всем неподвижны (tenons-nous cois)». [447]

Maran atha.

Господь грядет, –
в этих двух словах бьется вечное сердце христианства; перестанет биться – христианство умрет. Кальвин меньше, чем кто-нибудь, понял, что это значит. Вот почему Апокалипсис для него бессмыслица. В «Царстве Божьем» у него все, от водосточных труб до пыточных орудий, устроено так, как будто мир вечен, и Господь никогда не придет. Это тем удивительней, что высшее для него сияние святости – в кровавом венце Исповедников, и что пастырь их – он сам. [448] «Лучше вам сто раз умереть, чем покинуть то место, на котором вас поставил Господь. Но как мне стыдно, что нет у меня для вас ничего, кроме слов! О, насколько бы лучше мне с вами умереть, чем вас пережить и оплакивать! Но я знаю одно – что нельзя больше страдать, чем я за вас страдаю». [449]

Мучим был за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились (Исайя, 53:5), –
этого никто не мог бы понять лучше Кальвина. Пристальнее, чем кто-либо, заглянул он в лицо Распятого и увидел в Нем брата: «Вот Он, Сын Божий, – наш Брат». [450] «Должен был Иисус в агонии бороться, лицом к лицу, со всеми силами ада и с ужасом вечной смерти, погибели вечной для Себя самого: иначе жертва Его за нас была бы неполной. Наше примирение с Богом могло совершиться только Его сошествием в ад». [451]

К Сыну Божию – Брату Человеческому – никто не подходил ближе Кальвина. Но вот подошел, заглянул в лицо Его, и прошел мимо – мимо Сына к Отцу. Этого он, конечно, сам не знает и, если бы это сказали ему, – не поверил бы, а если бы поверил, то сошел бы с ума или умер бы от ужаса.

В этом – нездешний, нечеловеческий, сверхъестественный, чудовищный грех Кальвина. Но, может быть, этот грех не вменится ему, потому что не он сам его совершил, а Кто-то – за него; не он сам пожертвовал собой, а Кто-то пожертвовал им для будущего, всемирно-исторического действия Трех.

44

В 1559 году, в Сочельник, Кальвин, проповедуя в переполненном соборе Св. Петра, должен был сильно напрягать голос, чтобы все могли его слышать. На следующий день, только что он сел обедать, сделался у него такой припадок кашля с кровохарканьем, что он должен был встать из-за стола. Раз три пытался возвращаться к нему, но кашель возобновлялся с большей силой, так что он вынужден был, наконец, лечь в постель. Позвали врача, и тот, осмотрев больного, сказал, что это чахотка. [452]

Вместе с этой болезнью возобновились и все прежние с новой силой: перемежающаяся лихорадка, кровавый понос, почечуй, камни в почках, камни в печени и такие головные боли, что он почти лишился чувств. [453]

Радоваться могли бы мщению все в женежских застенках запытаные: разнообразные муки терзали его, как раскаленные клещи, иглы, тиски и другие бесчисленные орудия пытки. Но если бы ему сказали, что все эти муки посланы ему для того, чтобы он покаялся в муках, причиненных другим, то он, вероятно, не понял бы и почувствовал себя невиннее, чем когда-либо.

Мережковский Д. Кальвин filosoff.org

В минуты крайних мук он подымал глаза к небу и, как будто с недоумением, спрашивал: «Доколе же, Господи? (Usque quo, Domine?)» [454]

Может быть, надо ему было пройти сквозь какой-то нездешний очистительный огонь страданий и, чтобы подойти к тому огню, надо было пройти сквозь этот.

Как искусный палач наблюдает за пытаемой жертвой, чтобы не слишком скоро умерла и чтобы мука продлилась, так и болезни, терзавшие Кальвина: только что пытки достигали крайней степени, и он уже начинал надеяться, что смерть его избавит от них, как болезни давали ему отдохнуть перед новой, злейшей пыткой. Так суждено ему было промучиться пять страшных лет.

Только что ему становилось полегче, он снова начинал проповедовать, читать лекции, заседать в Советах, принимать посетителей со всех концов мира и, «ползком перебираясь с постели к рабочему столу», писал бесчисленные письма и новые книги. А когда сам уже не мог идти в Церковь, приказывал нести себя туда на кресле, потому что «хотел исполнить работу Господа до последнего вздоха». [455]

В 1560 году усилилось гонение на гугенотов во Франции. Всюду пылали костры, и мученики всходили на них несметными толпами. Но мученик величайший был Кальвин. Лежа в постели, он диктовал чуть слышным голосом утешительные письма к идущим на смерть. Но чувство стыда, что «нет у него для них ничего, кроме слов», росло в нем бесконечно.

5 декабря Франциск Первый умер. [456] Это была последняя земная радость Кальвина.

6 февраля 1564 года он произнес последнюю речь в общем Народном Собрании для выбора новых Синдиков. 6 марта в последний раз проповедовал в соборе Св. Петра, а 10-го принял у себя на дому нескольких городских и сельских проповедников. «Долго сидел в кресле молча, облокотившись привычным движением о стол, опустив голову на руку и закрыв глаза; потом приподнял кротким светом озаренное лицо и сказал тихим голосом, что надеется еще раз видеть их, недели через две. „Это будет наше последнее свидание, потому что я чувствую, что скоро Господь отзовет меня к Себе...“»

В тот же день постановлено в Малом Совете, «чтобы весь женеvский народ молился о здравии мэтра Кальвина и чтобы через брата его, Антуана, выдано ему было пособие в двадцать пять солнечных флоринов». Но хитрость не удалась: Кальвин, узнав о пособии, отказался от него, потому что «не заслужил его ничем». [457]

24 марта, в обычный день открытого взаимного суда – «Цензуры» – все женеvские проповедники собрались в комнате больного. Он, как предсказал, чувствовал себя гораздо лучше.

Первого «судили» его, перечисляя все его грехи, явные и тайные: «гнев, упрямство, жестокость, гордыню». Он слушал молча, смиренно, сложив руки на груди, низко опустив голову, и ответил, что «удивляется благодати Божией, избравшей такое недостойное орудие, как он». Потом и сам начал судить братьев, говоря каждому, по очереди, в лицо всю правду и обличая такие тайные раны совести, что им казалось, что не человеческому суду предстоят они, а Божьему. Хриплым, задыхающимся голосом, который часто прерывался кашлем, он говорил около двух с половиной часов и не только не чувствовал усталости, но ему даже сделалось лучше, и он объявил братьям, что «Господь продлит ему жизнь до следующего с ними свидания». Потом, начав говорить о некоторых темных словах Нового Завета, велел принести бумаги свои, долго вычитывал из них отрывки истолкования и спрашивал, что думают братья. Все они видели, что «он так побледнел, что боялись, как бы не лишился чувств; но видели также, что эта беседа так сладостна ему, что не смели ее прервать». На следующий день ему сделалось хуже, и снова началось кровохарканье. [458]

27 марта он велел отнести себя в ратушу, на кресле, но сошел с него внизу у лестницы, поддержанный двумя друзьями, поднялся по ней и вошел в палату Совета, где, «стоя и сняв шляпу, благодарил высокочтимых Сеньоров за все оказанные ему благодеяния, особенно за всю доброту их, во время его последней болезни».

«Потому что я чувствую, – кончил он, – что в последний раз имею честь

говорить с вами...»

«Он едва был в силах выговорить эти слова; голос его прерывался; он сам плакал, и плакали все»

45

2 апреля, в день Светлого Христова Воскресения, он был так слаб, что едва мог говорить, но все-таки велел отнести себя в собор, где выслушал проповедь, причастился и дрожащим голосом, вместе со всем народом, запел:

Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое (Лука, 2:29-30).

«И такое сияние озарило лицо его, что весь народ был потрясен», – вспоминает Бэза, который сам и причащал его. [459]

25 апреля Кальвин продиктовал завещание: «Я, Жан Кальвин, Слова Божия слуга в Церкви Женевской... благодарю Бога моего за то, что Он не только был милостив ко мне, жалкой твари своей, но и дал мне силу Ему послужить. Верую и исповедую, что умираю с единственной надеждой на Его свободное избрание... Свидетельствую также, что, по мере Им дарованных мне сил, я учил Слову Его во всей чистоте и боролся с врагами его, как только мог. Но воля и ревность моя были так слабы, что я чувствую себя виноватым во всем, и если бы не благодать Его, то все, что я сделал, рассеялось бы, как дым...»

Следовали статьи завещания, по которым скудное имущество его, около двухсот флоринов, разделялось между родными его и бедными изгнанниками из Франции. [460]

«Милостивые Сеньоры мои, я давно уже хотел говорить с вами, но не спешил, потому что никогда еще Господь не давал мне так ясно почувствовать близость конца моего, как сейчас. Я не могу достаточно вас благодарить за всю вашу дружбу ко мне, особенно же за то несказанное терпение, с каким вы переносили все мои бесчисленные пороки и немощи. Правда, должен был я, много претерпевая, бороться, но не по вашей вине, а по Предопределению, потому что Господу угодно испытывать рабов своих в борьбе. Если же я не сделал всего, что должен был сделать, то умоляю вас приписывать это не злой воле моей, а лишь слабости, потому что я могу сказать по совести, что всю душу был предан вашей Республике и, вопреки всем моим ошибкам, все-таки много для нее сделал, так что было бы лицемерием, если бы я не засвидетельствовал, что Господь употреблял меня, чтобы сделать и то, и другое в вашем городе. Но еще раз умоляю простить меня за то, что дела мои так ничтожны по сравнению с тем, что я должен был бы сделать...»

В заключение, торжественно и с такой потрясающей силой, что этого никто из слышавших до конца дней своих не мог забыть, он повторил исповедание всей жизни своей: «Нет на земле власти иной, кроме Бога, Царя царствующих и Господа господствующих!» [461]

На следующий день он пригласил тоже к себе на дом всех женевских проповедников и, сидя на постели, среди подушек, сказал им, как будто с веселой улыбкой: «Братья мои, вам может казаться, что я еще вовсе не так плох, но верьте мне, что, хотя мне и прежде бывало нехорошо, но никогда еще так, как сейчас, потому что я не похож на других больных: чувство и рассудок у тех перед смертью слабеют и мутнеют, а у меня так ясны, что мне иногда кажется, что очень трудно мне будет умирать, потому что, когда уже голос мне изменит, я буду все понимать яснее, чем когда-либо...»

«Потом рассказал им, как на исповеди, всю свою жизнь, с той минуты, когда вошел в их город, до той, когда победил всех врагов своих и Божьих». Кончив рассказ, он так же, как наемни, торжественно и с той же потрясающей силой повторил другое исповедание всей жизни своей: «Так как Бог заключил в Законе своем все, что нужно людям знать для совершенной жизни, то будьте неподвижны во всем на веки веков!»

«И попрощался с каждым из них, взяв его за руку, так ласково, что все плакали навзрыд». [462]

Следующие дни, до самого последнего, он провел в непрерывной безмолвной молитве. Часто лежал, закрыв глаза, с таким неподвижным лицом, что присутствующим казалось, что он давно уже умер. Но вдруг, открывая глаза,

Мережковский Д. Кальвин filosoff.org
говорил громким голосом: «Я молчу, не открываю уст моих, потому что Ты соделал это!»

И еще: «В ступе Твоей Ты толчешь меня, Господи, но я радуюсь, потому что это Твоя рука!»[463] И глаза его горели таким огнем, что казалось, никогда не умрет.

Вспоминал ли Сервета? Слышал ли далекий зов: «Кальвин-Каин? Где брат твой, Сервет?»

Если не здесь, на земле, то там, в вечности, вспомнит, услышит и, может быть, удивится, что его, Кальвина, «предопределение», «спасение», зависит не от Отца, а от сына, в лице Сервета.

27 мая сделалось ему как будто лучше, но это была уже последняя вспышка пламени. В восемь часов вечера начал отходить. Исполнилось то, что он предсказывал: уже не мог говорить, но видно было по глазам, что все видит и слышит, понимает яснее, чем когда-либо.

Солнце зашло, но все еще рдели в темно-лиловом небе, точно исполинские, изнутри освещенные рубины, снега Мон-Блана. Кальвин отошел так же тихо, как Иделетта, и так же никто не заметил его последнего вздоха. Он уже давно был мертв, но все еще казался живым. «И те, кто видели его, лежавшим так, могли бы вспомнить Иисуса Навина, когда Израиль освободился из рабства в Египте и Господь сказал пророку своему: „Не подобен ли сей головне, извлеченной из пламени?“»[464]

«Только что прошел по городу слух о блаженной кончине мэтра Кальвина, как начался великий плач и рыдание». [465] Радоваться бы надо было, что умер палач и кончилась пытка, но вот люди плакали так, как будто умер самый близкий и нужный для них, родной человек.

Кальвина похоронили по его завещанию: тело зашили в грубый небеленый холст, положили в простой сосновый гроб, отнесли на Пленпалейское (Plain Palais) кладбище, молча, без речей и церковного пения, опустили в могилу и ни креста, ни камня на ней не поставили, так что через немного месяцев, когда могила сравнялась с землей, никто уже не мог ее найти. [466]

Где могила Кальвина, так же не будет знать никто, как и где могила Сервета. Так же смешались в земле эти два праха, как, может быть, соединятся на небе, в одной любви, Сервет и Кальвин.

III. ЧТО СДЕЛАЛ КАЛЬВИН?

1

Самое глубокое, хотя и невидимое, подземное основание христианского Запада есть религиозный опыт Предопределения, выраженный Кальвином с такою чудесною силой и точностью: «Избранные Богом спасены так несомненно, что, если бы даже рушился мир, – они все-таки спаслись бы». [467] Кальвин как будто повторяет и углубляет здесь так, как никто, за пятнадцать веков христианства, религиозный опыт ап. Павла:

Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем (Римлянам, 8:38–39).

Этот религиозный опыт ап. Павла Кальвин как будто повторяет, а на самом деле, искажает, потому что делает под знаком не Отца и Сына, а только Отца. «Конец закона – Христос», – говорит Павел; «конец Христа – закон», – мог бы сказать Кальвин.

Двух людей более противоположных, чем Л. Толстой и Кальвин, трудно себе и представить; но в какой-то одной точке религиозного опыта – не в вере в Бога, а в доверии к Нему, – они совпадают. «Бога мы узнаем не умом и даже не сердцем, а только чувством совершенной от него зависимости, такой же, как у ребенка на руках матери, который не знает, кто его держит, греет и кормит, но знает, что это делает Кто-то, и любит Его», – говорит Толстой. То же мог бы сказать и Кальвин, да это он и говорит, хотя иными словами: «Как бы ни презирали нас и ни ругались над нами люди мира сего... мы выше звезд небесных; как бы злые люди – псы и свиньи – ни топтали нас ногами... мы

Мережковский Д. Кальвин filosoff.org
выше звезд небесных!» «Радость для нас величайшая – знать, что все происходит по Предопределению Божию... потому что Господь поручил охранять нас Ангелам своим, так что, если нет на то воли Его, – ни вода, ни огонь, ни меч не могут нам повредить». «Дьявол на нас и мизинца не может поднять, если Бог ему не велит». [468]

Только такое бесконечное доверие к Богу и могло дать мученикам новой веры ту бесконечную силу, которой удивляются даже злейшие враги их, римские католики: «Всюду пылали костры... но упорство тех, кого влекли на них, изумляло многих, потому что простые женщины шли на муки с радостью; молодые девушки всходили на костер, как на брачное ложе, и мужчины, когда рвали им ребра палачи раскаленными докрасна железными щипцами... терпели эту муку с непоколебимой твердостью... и умирали, смеясь». [469]

«Что такое Женева? Город Духа, воздвигнутый на несокрушимой скале Предопределения... Каждому угрожаемому народу Спарта посылала воинов своих для защиты свободы. Так и Женева... Сколько бы народов ни поработал Лойола; как бы ни ослепляло их испанское золото, – здесь, в Женеве, в огражденном убежище, темном саду Божиим цветом кроваво-красные розы духовной свободы... И повсюду, где только Европа ни нуждается в Мучениках, – их посылает Женева». [470]

2

«Избранные Богом погибнуть не могут» – эту радостную тайну Предопределения знали, может быть, лучше Кальвина все великие святые до него и будут знать после; но знали только для себя. Кальвин первый узнал и осуществил ее для мира, в религиозном социальном и политическом действии – в строении Царства Божия на земле, как на небе, – в Теократии.

Духовные дети Кальвина, проходя по всему лицу земли, с Библией и заступом в руках, завоеют весь мир, и это завоевание будет выше, бессмертнее всех побед Александра, Цезаря и Наполеона. Больше, чем веря, – зная, что волос с головы их не упадет без воли Отца их небесного, эти люди в воде не тонут, в огне не горят. Выкинутые кораблекрушением на пустынный берег или блуждая в непроходимых чащах лесных Нового Света, так же спокойны они и радостны, как младенец на руках у матери. [471]

«Я, несчастный Робинзон Крузо, потерпев кораблекрушение во время ужасной бури, спасся, полумертвый, на этом необитаемом острове, который я назвал Островом Отчаяния, – записывает Робинзон в дневнике своем. – Я изгнан навсегда из человеческого общества... нет у меня никого, с кем бы я мог говорить и кто мог бы меня утешить».

Но вот, среди обломков корабля, находит он случайно или по Предопределению Божьему «три великолепных Библии, которые получил из Англии вместе с грузом и уложил со своими вещами»; находит также и заступ. И с этими двумя орудьями – книгой и Заступом – будет спасен. Остров Отчаяния делается для него Островом Надежды.

«Мне пришло на ум, что я потеряю счет времени... Чтобы этого избежать, я водрузил там, где вышел на берег, большой деревянный крест, с вырезанной на нем надписью: „30 сентября 1659 года я вышел здесь на берег“».

Остров – весь мир, а Робинзон – все человечество. Чем будет для него мир – Островом Надежды или Отчаяния, – решает Крест.

Горсть пыли на дне забытого мешка находит Робинзон тоже случайно или по «Предопределению Божию» и, нуждаясь для чего-то в мешке, вытряхивает пыль на землю. «Это было незадолго до больших тропических дождей. А когда, около месяца спустя, я увидел выходящие из земли зеленые стебли, я подумал, что это какое-нибудь неизвестное мне растение. Каково же было мое удивление, когда я увидел десять или двенадцать колосьев зеленой ржи, точно такой же, как в Англии! Я заплакал от радости и возблагодарил Бога за такое великое чудо милости Его ко мне». [472]

Это, в самом деле, великое чудо Креста: только крещеная земля кормит человека, как мать сына.

Если бы не было Кальвина, то не было бы и Робинзона Крузо – человека с Книгой и Заступом, который мир завоевывает тем, что мы называем

Мережковский Д. Кальвин filosoff.org
«европейской цивилизацией» и что может сделаться путем к Царству Божию на земле, как на небе.

«Тайна Предопределения сладостна», – учит Кальвин. [473]

И пошел Самсон с отцом своим и с матерью в Фимнафу, и когда подходили к виноградникам Фимнафским, вот, молодой лев, рыкая, идет навстречу ему. И сошел на него Дух Господень, и он растерзал льва, как козленка; а в руке у него ничего не было... Спустя несколько дней... зашел он посмотреть труп льва, и вот рой пчел в трупе львином и мед... И сказал: «Из ядущего вышло ядомое, и из сильного вышло сладкое» (Суд., 14:5 – 14).

«Сладостная тайна Предопределения» и есть в львином трупе мед – «ядомое в ядущем».

3

«Люди богатеют не собственным трудом своим, не добродетелью, не мудростью, а благословением Божиим». «Сами по себе богатства – не грех, как учат изуверы... и даже великое кощунство – осуждать богатство... Ангелы относят Лазаря на лоно Авраамово. Кто же Авраам? Человек богатый всем – скотом, серебром, детьми». [474] Стоит лишь сравнить это благословение богатства у Кальвина с его проклятием у св. Франциска Ассизского, чтобы увидеть, что вся плоть мира освящается у Кальвина под знаком не Отца и Сына, а только Отца. Чтобы это увидеть, стоит лишь вспомнить и эти страшные слова Кальвина: «Тело Христово не может быть унижено так, чтобы претвориться во хлеб Евхаристии», [475] или то, что говорят женевские Либертинцы о французских гугенотах-изгнанниках: «Черт бы их всех унес назад во Францию и дал бы им там есть ихнего Бога, запеченного в тесте!» [476]

Под тем же знаком не Отца и Сына, а только Отца освящает Кальвин и свободу. «Чудный дар Божий людям – свобода». «Не думать о ней – значит быть вечным скотом». «Сволочью могут быть и цари; слишком часто достойны они только быть выброшенными на съедение псам». [477]

Это освящение свободы совершается во имя Христа лишь в Реформации, а в Революции совершится помимо или даже против Христа. Вот почему вся так называемая «цивилизация» новых времен выпадает с такой ужасающей легкостью из христианства сначала в язычество, а потом и в антихристианство, или в совершенную религиозную пустоту – «тму кромешную».

Крест воздвиг Робинзон на Острове Отчаяния, вопреки всему учению Кальвина. Дерево креста потихоньку истлеет – Крест упадет, и Остров Надежды снова сделается Островом Отчаяния. Чтобы в этом убедиться, стоит лишь вспомнить того Вальденского мученика, который предпочел быть сброшенным в пропасть, чем поклониться Кресту; или того, кто дал себе проткнуть язык раскаленной докрасна железной иглой, только бы не произнести Ave Maria; или то, что Римская обедня для Кальвина – страшно сказать – есть «нечто смердящее»; или то, что он исклучил из Литургии одну из прекраснейших молитв человеческих – ту, что произносит священник Римской Церкви, причащаясь Дарами:

Господи, я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой.
Domine, non sum dignus. [478]

Это изуверство женевское несколько не лучше, а может быть, и хуже действительного или только мнимого изуверства римского, потому что здесь более страшное обеднение, обнищание человеческого духа.

Лютер открыл форточку, чтобы освежить воздух в доме, а Кальвин выломал окно так, что ледяной ветер наполнил весь дом, и он сделался необитаемым.

Все человеческие верования – сначала свежие, только что курочкой снесенные яички, а потом и, увы, очень скоро – тухлые яйца. Эта горькая участь постигла и Реформацию.

Тайна Предопределения слаще меда для «избранных», а для «осужденных» – горше полыни. Но человек, пока жив, как бы ни был праведен, не может и не должен знать наверное, будет ли он на последнем Божьем суде осужден или оправдан, и «единственная для него порука спасения – добрые дела». [479] И здесь опять та самая опасность фарисейского самодовольства и лицемерия: «Благодарю тебя, Господи, что я не как сей мытарь», – из-за которой и началась Реформация. Иезуитская ложь от Лойолы, пуританское лицемерие от

Кальвина – что лучше?

Тысячи маленьких протестантских Церквей расплодятся в Старом и Новом Свете. В Старом – будут сохнуть, каменеть, а в Новом – тлеть и пахнуть «тухлым яйцом». Если Кальвину и Лютеру, чтобы спастись в вечности, нужно будет пройти сквозь какой-то очистительный огонь:

Я был бы рад

В расплавленное броситься стекло,
Чтоб освежиться, – так был жар безмерен.

(Данте, «Чистилище»)

in un bogliente vetro

gittato mi sarei per

reinfrescarmi,

tant'era ivi lo incendio

sanza metro

(Dante, *Purgat.*, xxvii, 49–51),

то, может быть, этим огнем будет для них огонь стыда за эти бесчисленные, как будто от них идущие, маленькие Церкви.

Главная ошибка во всем религиозном опыте Кальвина – то, что он вовсе не видит «противоположного согласия», *concordia discors*, ни двух Заветов, ни двух лиц в Боге Троицею. «Антитринитарен», «противотроичен» Сервет только в созерцании, а Кальвин – в созерцании так же, как в действии.

«Вы слышали, что сказано древним... а Я говорю вам» (Матфей, 5:21–22). Этого «а Я говорю» Кальвин никогда не слышал. Вместо религиозной противоположности, у него только метафизическое противоречие двух Заветов.

«Все Евангелие есть только повторение того, что Моисей возвестил людям до Христа», – учит Кальвин.[480] Это значит: Закон есть конец Христа.

«Жалки те, кто смеется над простотою верующих в мертвую букву, – учит Кальвин. – Дух Святой подчинен букве Писания. Не Духом судится Писание, а Писанием – Дух»[481] (*Ce sont des miserables*). Если так, то Закон Отца есть конец не только Сына, но и Духа; Один есть конец Трех.

Может быть, главное дело Кальвина – то, что он сам меньше всего сознает и меньше всего хочет, – доказательство от противного вечной жизни в обеих Церквях, Западной и Восточной; и, может быть, не случай, а «Предопределение» – то, что доказательство это было дано именно в ту роковую минуту, когда для всего христианского Запада решался вопрос: быть или не быть христианству? Чтобы в этом убедиться, стоит лишь вспомнить, что один из величайших святых Римской Церкви, как бы второе воплощение св. Франциска Ассизского, Винсент де Поль, – почти современник Кальвина (*Saint-Vincent de Paul* родился в 1576 году, двенадцать лет спустя после смерти Кальвина). Может быть, тоже не случай, а «Предопределение» – то, что вся жизнь и все дело св. Винсента – как бы ответ на всю жизнь и все дело Кальвина.

Однажды св. Винсент шел по многолюдной улице, глубоко задумавшись. Вдруг неизвестный ему человек, подойдя к нему, изо всей силы ударил его по лицу. Тогда, пав перед ним на колени, святой умолял простить его за то, что он чем-то обидел его, обидчика.[482]

«Если только он явится в Женеву, и власть моя здесь будет хотя что-нибудь значить, то я его отсюда живым не выпущу», – пишет Кальвин о Сервете, и о другом, неизвестном «еретике»: «Я сделаю все, что могу, чтобы сжечь его на костре». [483]

Стоит только сравнить этот огонь Кальвина с теми слезами св. Винсента, чтобы увидеть, какая из двух Церквей, протестантская или католическая, ближе к вечной правде и вечной жизни.

Только кора старого дуба мертва, а внутри он все еще жив: это видно по таким зеленеющим весенним листьям, как это явление вечной святости в Римской Церкви – св. Винсент.

Действию равно противодействие; как аукнется, так и откликнется. Лютер и Кальвин «аукнули» внешней Реформой, а Римская Церковь «откликнулась» Реформой внутренней.

Первый удар, Лютера, по Римской Церкви был недостаточен, чтобы разбудить ее от смертного сна, нужен был второй удар, Кальвина. «Я радуюсь тому, – говорит Лютер о Кальвине, – что Бог посылает нам таких людей, которые нанесут папству последний удар и кончат с Божьей помощью то, что я начал». [484] Бедный Лютер, бедный Кальвин! Если бы знали они, что сделали для того, что считали «Царством Антихриста»!

От удара молнии, в землю начинает иногда бить из нее кипящий родник: молния Кальвина ударила в Римскую Церковь, и вдруг забил из нее родник новой жизни – новой святости.

«Кажется, обе Церкви (протестантская и католическая) правы и не правы, потому что в каждой из них – только половина истины», – учит Сервет. [485] С этим мог бы согласиться и Паскаль – одно из величайших явлений христианства за последние четыре века. Павел, Августин, Лютер, Кальвин, Паскаль – вот путевые вехи, обозначающие шествие Духа в веках и народах, от Иисуса к нам.

Быть или не быть христианству? Этот вопрос поставлен в наши дни уже не только христианским Западом, но и Востоком – перед всем христианским человечеством. Быть или не быть христианству – значит быть или не быть не одной из двух разделенных Церквей, Восточной или Западной, а Единой Вселенской Церкви.

Римская Церковь, ладья Петрова, сплочена так крепко, потому что ей предстоит великое, всемирно-историческое плавание от Первого до Второго Пришествия. А Римское Первосвященство – главная в этой ладье железная скрепа – то, на чем вся она держится. Если вынуть ее, вся она развалится и пойдет ко дну. Но этого не может быть, потому что не может не исполниться обетование Господне:

Врата адовы не одолеют Ее (Матфей, 16:18).
«Все мы согрешили, воистину все!» – каялся, говоря о Лютере, один из Римских Первосвященников XVI века. [486] Почему не мог бы так же покаяться и Римский Первосвященник XX или одного из грядущих веков? И если понял Сервет – еретик, что «в каждой из обеих Церквей – протестантской и католической – только половина истины», то почему не мог бы этого понять и правоверный католик? А стоит лишь это понять, чтобы совершилось единственно возможное спасение христианского человечества – Соединение Церквей. И когда оно совершится, то, может быть, вспомнят люди, как много для него, сам того не зная и не желая, сделал Кальвин.

Примечания

1

Paul Henry, Das Leben Johan Calvius, 1838, II, 356.

2

P. Henry L. 1538.

3

Лютер

4

M. Viser L. 1538.

5

J. Moura et P. Louvet, p. 216.

6

Op. cit. 218.

7

Em. Doumergue, *Le caractere de Calvin*, 1931, p. 132.

8

Edwin Booth, *Luther* (trad. fr.) 1934, p. 117.

9

E. Stahelin, *J. Calvin*, 1863, I, 304.

10

Christianae Religionis Institutio, lib. IV, cap. I.

11

De Wette, M. *Luthers, Briefwechsel*, I, 342.

12

протестанты

13

католикам

14

Opera M. Luthers, ed. Erlanger XXXIV, 3296.

15

De Wette, I, 233.

16

Kuhn I, 116.

17

Calvin, 1933, p. 138.

18

Luc Febvre, *Un destin M. Luther*, 1928, p. 212.

19

Op. XXIX, 175.

20

P. Charles Clair, *La vie de St. Ignace de Loyola*, 1891, p. 410.

21

Benoit, 137.

22

Doumergue, J. Calvin, 1899–1927, VII, 113.

23

Alex Brou, St. Ignace maitre d'oraison, 1925, p. 63.

24

Op., ed. Erlang. LXIII, 336: «Neueste Zeitung von den widertanferne zu Munster», 1535).

25

Moura et Louvet, 331.

26

J. Bonnet, Lettres de J. Calvin, 1854, II, 568.

27

Henry, 11, 102, 115.

28

Henry, III, 543.

29

Stahelin, I, 331.

30

Doumergue, IV, 75, 198.

31

Doumergue, IV, 199.

32

Henry, III, 135: adspicite... quale sit Evang vestrum lege confusum.

33

Audin, Hist de Calvin, 1873, p. 427.

34

Stahelin, II, 376, Doumergue, 146.

35

Enders, Luther, Briefwechsel, VI, 6.

36

Febvre, 172. Enders, Luther, Briefwechsel, VI, 6, 35.

37

Michelet, La Reforme, 112.

38

Enders, Luther, Briefwechsel, VI, 6.

39

R. Wille, La liberte chretienne, etude, La piete chretienne chez Lutherm 1922, p. 296 ss.

40

Op. cit.

41

еретика

42

Inst. L; IV с. XII, 10.

43

Stahelin, I, 354.

44

Aug. Dide: Michel Servet et Calvin, 274.

45

J. D. Rambaud, S. Dominique, 1926, p. 176.

46

J. Guiraud, L'inquisition medievale, 1929, p. 176, 153.

47

Rafael, Sabatini Torquemada et l'inquisition en Espagne, 1937, p. 93, 103, 133, 180, 221, 126.

48

Enders, V, 181 ss.

49

Aubier, 459.

50

Dide, 270.

51

Strohl, Luther, sa vie et sa pensee, 83, op., ed. Erlanger, III, 223.

52

гражданская

53

Doumergue, 146, 149, 150.

54

Th. Carlyle, Les heros, trad. francaise, 1922, p. 229.

55

Stahelin, I, 347.

56

Inst. 1. III, c. XXI.

57

вместе

58

Inst. 1. III, s. XXIII, 7 Doumergue, IV, 378 – Henry I, 328: «videbat nominis sui gloria (indemerito illustrari)».

59

Bitschl ap. Doumergue, IV, 124.

60

Benoit, 216.

61

Doumergue, 108, Schaning ap. Dide, 313.

62

Мережковский Д. Кальвин filosoff.org
Doumergue, IV, 377.

63

см. сноску выше.

64

Henry 1, 216, Doumergue, IV, 381.

65

Doumergue, IV, 379.

66

Henry, I, 316.

67

Bretschneider Corpus reformatorum, 1834–1842, II, 159.

68

Luther, Tischreden, ed. 1568, s. 220.

69

они

70

Tischred, n. 1234. Op., ed. Weimt, IV, 84.

71

Stahelin, II, 300.

72

Henry, III, Beilage, 48.

73

Stahelin, I, 68.

74

во всех

75

Origen. Paris, archi 1. III, с. I, 21.

76

Doumergue, IV, 76.

77

Ри, 9. 20.

78

Audin, 472.

79

Benoit, 261, 225.

80

см. сноску выше.

81

Apokryphen, 1904, s. 169.

82

Eckermann, Gespräche mit Goethe, 11 marz, 1832.

83

Stahelin, II, 372.

84

Contrat social, VII.

85

De Wette, I, 555.

86

Henry, I, 398.

87

Audin, 454.

88

Henry, III, 596, 174.

89

см. сноску выше.

90

Henry, I, 501, 435.

91

см. сноску выше.

92

Stahelin, I, 453.

93

Benoit, 169.

94

Stahelin, 11, 401.

95

Audia, 395.

96

Doumergue, VII, 163.

97

Op. XXVI, 551.

98

Benoit, 126.

99

Eckermann II, 26 Februar, 2 Marz, 30 Marz 1831.

100

Faust II, Act I.

101

Benoit, 149, Vie de Calvin, 1864, p. 197.

102

Henry, I, 47.

103

Doumergue, 16.

104

Theod Beza, La vie de Calvin, 1864.

105

Henry, I, 30.

106

Louvet, 10, 7, 8.

107

Henry, I, Beilage, 26.

108

Henry, I, 30.

109

Doumergue, 18, 19.

110

Benoit, 10, Louvet, 15, 13, 22.

111

Beza.

112

см. сноску выше.

113

Benoit, II.

114

Benoit, 19.

115

Moura et Louvet, 14.

116

Stahelin, 1,4.

117

Benoit, 9.

118

Stahelin, I, 3.

119

Benoit, 12.

120

Stahelin, 1.5-6; Benoit, 14, 15.

121

Stahelin, 1, 6; Benoit, 15.

122

Benoit, 16, 20, 21.

123

см. сноску выше.

124

см. сноску выше.

125

см. сноску выше.

126

Stickelberger, Calvin, 1931, p. 11.

127

Inst., 1. I, с. XVI, 8.

128

Henry, I, 31, 35-36.

129

Benoit, 35.

130

Henry, I, 39; Benoit, 23; stickelberger, 12.

131

Louvet, 43.

132

Benoit, 31.

133

Мережковский Д. Кальвин filosoff.org
Moura et Louvet, 42.

134
Benoit, 24.

135
Moura et Louvet, 53, 45.

136
см. сноску выше.

137
Benoit, 32.

138
Henry, I, 32.

139
Moura et Louvet, 79, 57.

140
Henry, I, 43.

141
Benoit, 31.

142
Lang, Die Bekehrung J. Calvins, 1897.

143
Benoit, 33.

144
Doumergue, I, 340.

145
Henry, I, 49.

146
Stahelin, I, 26; Beza, Hist. Calvin.

147
Moura et Louvet, 78–80.

148

Op., XXXI, 23.

149

Moura et Louvet, 82.

150

Stahelin, I, 347.

151

Benoit, 27.

152

Moura et Louvet, 83.

153

Drelincourt, p. 175; Henry, I, 56.

154

Benoit, 34, 35, 36.

155

см. сноску выше.

156

Moura et Louvet, 104.

157

Stickelberger, 21.

158

Henry, I, 57.

159

Benoit, 37.

160

Henry, I, 39.

161

Op., XXXI, 29.

162

Benoit, 45–48.

163

Henry, I, 75.

164

stickelberger, 34.

165

Henry, 1,49.

166

Louvet, 120.

167

Benoit, 53.

168

Henry, I, 108.

169

Instit., Praefatio ad Christianissimum Rem Franciae, 1536.

170

Cantu, Gli Fretici d'Italia, 1866, II, 90.

171

Benoit, 57; stickelberger, 38.

172

Moura et Louvet, 127.

173

Beza, Vita Calv., ed. Franklin, p. 26.

174

stickelberger, 39.

175

Henry, I, 155.

176

Benoit, 58–59.

177

Stickelberger, 42–43.

178

Moura et Louvet, 132, 123.

179

СМ. СНОСКУ ВЫШЕ.

180

Drelincourt, 47, Henry, I, 155–156.

181

Stahelin, I, 111.

182

Henry, I, 156, Doumergue, 7.

183

Op., XXXI.

184

Beza, Vita Calvinii.

185

Henry, I, 161–162.

186

Op, XXXI.

187

Henry, I, 164.

188

Stickelberger, 44–45; Henry, I, 167.

189

Benoit, 60–61.

190

Benoit, 87, Stichelberger, 50.

191

Moura et Louvet, 139–140.

192

Benoit, 63, 62, 64.

193

см. сноску выше.

194

см. сноску выше.

195

Stichelberger, 57.

196

Doumergue, 137–139.

197

Benoit, 69.

198

Moura et Louvet, 156, 160.

199

Benoit, 64.

200

Moura et Louvet, 156; Benoit, 66–67.

201

Louvet, 160.

202

Moura et Louvet, 158.

203

Stichelberger, 60.

204

Мережковский Д. Кальвин filosoff.org
Moura et Louvet, 165, 168, 305; Benoit, 70.

205

Stahelin, I, 383; Moura et Louvet, 171.

206

Stahelin, I, 152.

207

Stickelberger, 61-62.

208

Benoit, 70.

209

Henry, I, 199.

210

Stickelberger, 62.

211

Moura et Louvet, 174.

212

Stickelberger, 62; Moura et Louvet, 177.

213

Benoit, 145.

214

Henry, I, 198-199.

215

Merle d'Aubigne, Histoire de la Reformation au temps de Calvin, 1863-1878, IV, 497; Calvin Opera, X, 189.

216

Rozet, Chronique MSC. de Geneve, IV, ch. 18.

217

Stahelin, I, 156.

218

Louvet, 180.

219

Henry, I, Beilage, 81.

220

Comment. des Psaumes, 1859, Preface, p. IX.

221

Hermanjard, Correspondence des reformateurs dans les pays de langue française, 1864-1897, V, 54.

222

Benoit, 73.

223

Benoit, 74-75.

224

Moura et Louvet, 193, 204, 191, 197.

225

см. сноску выше.

226

см. сноску выше.

227

Benoit, 76.

228

Stahelin, II, 467.

229

Benoit, 78; Moura et Louvet, 190.

230

Benoit, 16-17.

231

Benoit, 75; Stahelin, I, 171.

232

Op., X, 348.

233

Stahelin, I, 273.

234

Stahelin, I, 273–275.

235

Stahelin, I, 275; Henry, I, 419.

236

Moura et Louvet, 214.

237

Stahelin, I, 277.

238

Henry, I, 420; Stahelin, I, 280; Benoit, 85–85.

239

Stahelin, I, 310.

240

Henry, I, 385.

241

Stahelin, I, 305.

242

Benoit, 85.

243

Doumergue, 10.

244

Stahelin, I, 284.

245

Stahelin, I, 309; Henry, I, 393.

246

Stahelin, I, 283, 31, 308.

247

Benoit, 89.

248

см. сноску выше.

249

Hermanjard, VI, 331–332.

250

Stahelin, I, 307, 312.

251

см. сноску выше.

252

Hermanjard, VII, 25.

253

Doumergue, 11; Henry, I, 307; Stahelin, I, 311.

254

Moura et Louvet, 222.

255

Henry, I, 397–398.

256

Commentaires des Psaumes, 1859, Preface, p. IX.

257

Doumergue, 12.

258

Stahelin, II, 470.

259

Stahelin, I, 318; Henry, II, 18.

260

Benoit, 92.

261

Stahelin, I, 311; Henry, II, 109.

262

Stickelberger, 95.

263

Benoit, 145.

264

Stahelin, I, 349, 347.

265

СМ. СНОСКУ ВЫШЕ.

266

Henry, II, 111-113; Stahelin, I, 338.

267

Henry, II, 85.

268

Moura et Louvet, 235; Stickelberger, 92; Henry, II, 100-101.

269

Nicol. Eymricus, Directorium inquisitorum, III, 554; Bernard Gui, Practica inquisitionis haereticae pravitatis III, 144.

270

Henry, II, 114; Stahelin, I, 337-338.

271

Stahelin, I, 349, 336.

272

СМ. СНОСКУ ВЫШЕ.

273

Stahelin, I, 351; Henry, II, 417.

274

Stahelin, I, 351.

275

Stahelin, I, 383–384.

276

Benoit, 100.

277

Moura et Louvet, 251; Benoit, 97.

278

Moura et Louvet, 251; Henry, II, 425.

279

Benoit, 98; Moura et Louvet, 253.

280

Henry, II, 430.

281

Op., XXVII, 688, XXVIII, 284.

282

Moura et Louvet, 254.

283

см. сноску выше.

284

Henry, II, 431.

285

Stahelin, I, 398.

286

Rud. Schwarz, Joh. Calvins Lebenswerk in seinen Briefen, I, 294; Henry, 435.

287

Stahelin, I, 399.

288

см. сноску выше.

289

Henry, II, 439–440; M. Audin, Hist. de Calvin, 1873, p. 343.

290

Stahelin, I, 399; Benoit, 100.

291

Stahelin, I, 399.

292

Henry, II, 443; Audin, 343.

293

Stahelin, I, 400; Moura et Louvet, 257.

294

Stahelin, 399.

295

Stahelin, I, 401; Henry, II, 447.

296

Audin, 344.

297

Stickelberger, 103–104.

298

Henry, II, 414; Stahelin, I, 376; Doumergue, 112–113.

299

Henry, II, 376.

300

Stahelin, I, 376; Moura et Louvet, 247.

301

Moura et Louvet, 249, 245–249.

302

см. сноску выше.

303

Henry, III, 360.

304

Stahelin, I, 418, Henry, III, 363.

305

Stahelin, I, 419.

306

Beza, V. C., ap. Henry, III, 361.

307

Benoit, 104–105; Henry, III, 361.

308

Stahelin, II, 357–358.

309

Stahelin, I, 426; Stickelberger, 118; Benoit, 104.

310

Op., VIII, 511; Stickelberger, 24.

311

Stahelin, I, 426; Stickelberger, 118; Benoit, 104.

312

Ofr., VIII, 511; Stickelberger, 24.

313

Aug. Dide, M. Servet et Calvin, 5.

314

Op., VIII, 511; Stickelberger, 24.

315

Benoit, 105.

316

Dide, 98–99.

317

Doumergue, VI, 276–294; Stickleberger, 128.

318

Stahelin, I, 435.

319

Doumergue, VI, 301–305; Henry, III, 146.

320

Henry, III, 151, 127.

321

см. сноску выше.

322

Inst., 1, I, cap. XII, 7.

323

Moura et Louvet, 276.

324

Fritz Barth, Calvin and Servet, 1909, s. 10.

325

Henry, III, 164.

326

Dide, 19.

327

Inst, 1. I, с. XIII. 1; 1. I, с. X, 2.

328

Henry, III, 248–249.

329

Stahelin, I, 456; Henry, III, 136.

330

Moura et Louvet, 275.

331

Мережковский Д. Кальвин filosoff.org
Henry, III, 151; Stahelin, I, 439; Dide, 125.

332

Dide, 126, 128.

333

см. сноску выше.

334

Henry, III, 151.

335

см. сноску выше.

336

Dide, 162.

337

Stahelin, I, 424–425.

338

Stahelin, I, 446; Stickelberger, 135.

339

Op., VIII, 804–806.

340

Henry, III, 174–177.

341

Stahelin, I, 449.

342

Stahelin, 442; Dide, 188–189.

343

Dide, 234.

344

Op., VIII, 113.

345

Dide, 213.

346

Moura et Louvet, 283.

347

Stahelin, I, 449–451.

348

Melancht. Opera, VII, 362.

349

Op., XIV, 693; Henry, 192.

350

Henry, III, Beilage, 75–78.

351

Op., XII, 599, 657.

352

Dide, 24; Audin, 397.

353

Stahelin, I, 455.

354

Henry, III, 168.

355

Dide, 246.

356

Audin, 398.

357

см. сноску выше.

358

Stahelin, I, 455.

359

Henry, III, 198.

360

Stickelberger, 176; Dide, 304.

361

Stahelin, I, 457; Henry, III, 201.

362

Henry, I, 200–201.

363

Stickelberger, 140; Henry, III, 198.

364

Audin, 399.

365

Stahelin, II, 309, 317, 315.

366

см. сноску выше.

367

см. сноску выше.

368

Doumergue, 109.

369

Stahelin, I, 440.

370

Raf. Sabatini, Torquemada, 1937, p. 133.

371

Inst., 1, IV, с. XII, 10; Stickelberger, 142.

372

Seb. Castellio, De non comburentis Haereticis, ap. Benoit, 115; J. Vienot, Hist. de la Reforme francaise, 264–265.

373

Audin, 263; Dide, 269.

374

Dide, 297.

375

Michelet, La Reforme, 112.

376

Beza, Epist. theologicae.

377

Michelet, La Ligue et Henri IV, 1856, p. 56, 464.

378

Calv. Opera, VIII, 311-314.

379

Doumergue, IV, 98, 100; Aegidius Hunnius, Calv. jud., 1595.

380

Sanebier, Hist. lit. de Geneve, I, 218.

381

Dide, 310.

382

Dide, 310.

383

Op., ed. Weimar, IV, 84; Tischreden, n. 1234.

384

Moura et Louvet, 299-300.

385

Stickelberger, 148-149; R. Schwarz, II, 89 - 106.

386

Benoit, 126.

387

Moura et Louvet, 301-302, 304.

388

см. сноску выше.

389

Inf., III, 1.

390

Audin, 324.

391

Henry, II, 216.

392

Audin, 324; Dide, 147, 146.

393

Henry, III, 568.

394

Henry, II, 72–78.

395

Dide, 147; Henry, II, 429, 433; Benoit, 130; Stahelin, II, 370; Audin, 12.

396

Henry, II, 72; Moura et Louvet, 253.

397

Stahelin, II, 353.

398

Doumergue, IV, 404, 300.

399

Doumergue, Le caractere de C., 47.

400

Doumergue, 107.

401

Henry, III, 571.

402

Moura et Louvet, 307–308, 311.

403

Henry, II, 420; Stickelberger, 146.

404

Henry, III, 371.

405

Benoit, 131–133; Moura et Louvet, 313–315.

406

Benoit, 135.

407

Stickelberger, 155–156.

408

Fr. Brands, John Knox, 1862, p. 133.

409

Stahelin, 11, 440.

410

Doumergue, VII, 168–169.

411

Op., XV, 40.

412

Doumergue, 27.

413

Moura et Louvet, 332.

414

Henry, III, 572.

415

Stahelin, III, 366–367.

416

Henry, I, 460.

417

Stahelin, II, 462, 383.

418

Doumergue, 17.

419

Stahelin, II, 381.

420

Henry, I, 455.

421

Stahelin, II, 386; Henry, I, 464.

422

Henry, II, 216–217, 444.

423

см. сноску выше.

424

Stahelin, I, 474.

425

Benoit, 169.

426

Stahelin, I, 177–178.

427

Henry, III, 572.

428

Doumergue, 58; Op., XXI, 65.

429

Op., XXI, 103.

430

Stahelin, II, 410, 455, 409.

431

см. сноску выше.

432

Moura et Louvet, 341; Stahelin, II, 466.

433

Stickelberger, 145.

434

Benoit, 156, 157, 344 b; Venoit, 159.

435

Stickelberger, 75.

436

Stahelin, II, 438.

437

Op., XXXII, 498, XXXIV, 549.

438

Stahelin, II, 355.

439

Henry, I, 462.

440

Moura et Louvet, 195.

441

Stahelin, II, 407.

442

Op., XVI, 382.

443

Op., XII, 647.

444

Moura et Louvet, 244.

445

Stahelin, I, 371–372.

446

Stahelin, II, 415.

447

Inst., 1, IV, с. X, 7; op. XXXV, 64.

448

Benoit, 183.

449

Stahelin, II, 397.

450

Op., LIII, 321.

451

Inst, 1. II, с. XVI, 10.

452

Doumergue, VII, 168–169.

453

Moura et Louvet, 331.

454

Henry, III, 578.

455

Benoit, 142.

456

Moura et Louvet, 320–321.

457

Stickelberger, 159; Moura et Louvet, 330–333.

458

Stahelin, II, 459.

459

Stahelin, II, 459.

460

Bonnet, Lettres de J. C., II, 563–566.

461

Bonnet, II, 568; Stahelin, II, 463.

462

Stahelin, II, 465–468.

463

Bonnet, II, 146.

464

Stahelin, II, 470.

465

Beza, Vie de J. C., 1864, 197–198.

466

Benoit, 147; Stickelberger, 165.

467

Op., I, 51.

468

Benoit, 198–199.

469

Florimond de Raymond, Hist. de la naissance, propos et decadence de l'heresie de ce siecle, 1605–1647, I, ap. I, 19.

470

Michelet, Hist. de France, XVI siecle, 83.

471

Stahelin, II, 243.

472

Daniel Defoe, Robinson Crusoe, I.

473

Benoit, 234.

474

Op., XXXVI, 627.

475

Stickelberger, 69.

476

Benoit, 95.

477

Doumergue, 148.

478

Math, 8, 8.

479

Calv., Comment. II Thessal., 2, 13.

480

Op., LIII, 33.

481

Inst., 1. I, c. X, 2-1.

482

Henry, II, 171-172.

483

Henry, III, 134; Dide, 141.

484

Henry, II, 501.

485

Stickelberger, 78; Henry, II, 337; Gollet, M. Luther et J. Calvin, 1926: «...chose puante»; Audin, 271.

486

J. Quicherat, Procès de condamnation et de réhabilitation de J. d'Arc, 1841, I, 73.

Мережковский Д. Кальвин filosoff.org
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!
<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы,
недвижимость. Здоровый образ жизни.
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет
магазин обуви Интернет магазин
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных
сайтов. Интеграция, Хостинг.
<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!